

ОЛЕГ ГОНЧАРОВ

НОЧЬ СВАРОГА

ПОДНЯТИИ



Олег Гончаров

Ночь Сварога. Полонянин

«Издательские решения»

Гончаров О.

Ночь Сварога. Полонянин / О. Гончаров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831719-4

Второй роман цикла «Ночь Сварога» о становлении Русского государства. Древлянская столица Коростень сожжена княгиней Ольгой и княжич Добрыня становится заложником-полонянином одержавшего победу Киева. Но тому, кто родился воином, не суждено стать рабом. Цикл «Ночь Сварога» для тех, кому надоели выдумки про «засланцев» и «попаденцев», для тех, кто ценит хороший приключенческий исторический роман в духе Вальтера Скотта и Валентина Иванова, для тех, кому интересна история Руси.

ISBN 978-5-44-831719-4

© Гончаров О.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава первая	8
Конюх	8
8 сентября 947 г.	9
26 ноября 947 г.	19
28 ноября 947 г.	25
29 ноября 947 г.	31
6 декабря 947 г.	33
Глава вторая	36
Солнцеворот	36
24 декабря 947 г.	37
25 декабря 947 г.	44
27 декабря 947 г.	52
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Ночь Сварога Полонянин Олег Гончаров

Близким и дальним моим

*«И разбиты мы рукой вражеской, и бьет крылами Матерь-Сва,
и Доля по горю нашему слезы льет, но не век нам быть полонянами...»
Велесова книга (V. 4/5).*

© Олег Гончаров, 2016

© Сергей Кузьмин, дизайн обложки, 2016

ISBN 978-5-4483-1719-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Князь Киевский умирал. Умирал страшно. Умирал так, как не приведи Боже умирать никому.

С него сорвали исподнее, и кто-то, под всеобщий смех, высморкался в расшитую княжескую рубаху. А кто-то наступил на одну штанину замызганных грязью и кровью парчовых портов, потянул за другую и разодрал в клоки.

А потом ему, голому, ткнули горячей головней в пах, и это рассмешило мучителей еще сильнее. Один даже упал на снег, схватился за живот, принялся кататься, заходясь в безудержном веселье.

И тут одноглазый предводитель истязателей вынул из-за пояса нож. Подковылял на кривых ногах к измученному князю. Исподлобья, снизу вверх, оглядел исколоченное, опаленное тело своего давнишнего врага и криво усмехнулся, показав крупные желтые зубы. А потом просипел простужено:

– Помнится, Святослав, ты так любил потешаться над этим, – грязным пальцем он оттянул вниз веко, обнажив безобразное бельмо. – Занятно, что ты теперь скажешь? – и воткнул острое черное жало в правый глаз князя Киевского.

А затем потянул нож на себя, и к посиневшим от холода ногам княжеским упал белый кругляш с красными прожилками.

Князь до скрежета сжал зубы, но все же не смог сдержать крика. И по исхудавшей щеке его пробежала кровавая слеза. Скатила по заиндевелому усу. Упала тяжелой каплей рядом с вырванным глазом.

– Вяжите его, – предводитель остался доволен своей выдумкой.

И мучители радостно бросились выполнять приказание. Они накинули сыромятную петлю на руки Святослава, а другой конец ремня привязали к хвосту маленького злого жеребчика.

– Будь ты проклят, – невозможная боль, прошептал князь.

– Обязательно буду, – весело рассмеялся одноглазый кат, легко вскочил на спину жеребца и хлестнул его плеткой по ребрам.

Конь скакнул вперед. Ремень натянулся. Жеребец рванул. Сбил Святослава с ног. Поташил князя по иззябшей, схваченной стужей земле.

– Будь ты проклят! – из последних сил крикнул князь.

Одноглазый вновь хлестнул коня, и тот скорой иноходью понесся по заснеженному берегу. Тело князя заскользило следом...

Его бросало из стороны в сторону...

Было о прибрежные камни...

Волокло по шершавому льду Славуты-реки...

Подбрасывало на кочках...

Одноглазый сделал широкий круг и под ликующие крики мучителей вернулся на берег. Осадил коня. Спрыгнул с него. Крепкими руками потянул за ремень, подтащил тело Святослава к себе и презрительно пнул его носком сафьянового сапога. Очень удивился, когда князь тихо застонал.

– Живучий, говоришь? – просипел.

Выхватил нож, наступил на избитую голову Святослава. Затем нагнулся и, привычным движением, словно барану, перерезал князю горло. Горячая кровь окрасила белый снег. Лезвие ножа, прорвав мякоть горла, вошло между шейными позвонками. С громким хрустом отделило голову от дернувшего ногой тулова. А посиневшая, мертвая уже, рука сграбастала пальцами пригоршню снега, и застыла, скрюченная в смертной судороге.

Одноглазый вытер нож о синее голенище сапога, мгновение полюбовался красивым клинком, а потом сунул его за пояс. Потом накрутил на указательный палец длинную прядь русых волос княжеского оселка и высоко поднял отрезанную голову.

– Слава хану Куре! – крикнул кто-то из мучителей.

– Слава! – подхватили остальные.

– Будь ты проклят! – беззвучно прошептали мертвые губы.

– Будь ты проклят! – крикнул я.

Дернулся, стараясь вырваться из пут, но ремни только сильнее впились в запястья. А Куря, словно вспомнив обо мне, повернулся и спросил:

– Что, Добрын? Рад, небось, что на Руси больше князя нет? – и, не дожидаясь ответа, пошел на меня.

Словно безделица, в его руке раскачивалась голова Святослава...

Глава первая

Конюх

8 сентября 947 г.

Старый ворон знал, что все кончается рано или поздно. Он вспоминал тот далекий день, когда впервые решился расправить свои хиленькие крылышки. Вспоминал, как ему было страшно оттолкнуться от родного гнезда. Словно он уже тогда понимал, что ему больше никогда не вернуться назад.

Но что-то влекло его в неизвестность. Какая-то неумолимая сила старалась вырвать его из привычного мира. Мира, в котором было все так просто и ясно. Мира из теплых перьев, надоевшего гомона вечно голодных братьев и спокойного, доброго и ласкового голоса матери...

В тот день он так и остался в гнезде.

И братья громко, чтобы все слышали, смеялись над ним. Они называли его трусом...

Называли его глупцом.

Птенцом-переростком.

Всю ночь окрестности взрывались издевками слетков, а он упрямо впивался черными когтями в ветки гнезда.

Только под утро он понял великую истину. Он понял, что все рано или поздно кончается, и от этого стало еще страшнее. И он закричал зло на насмешников, раскинул крылья и бросился навстречу новому...

Неведомому...

Злому...

Непостижимо интересному Миру.

Старый ворон поймал поток ветра. Каркнул. Сделал широкий круг над гнездовьем людей и завалился на левое крыло. Тяжело присел на конек, иссеченной дождями тесовой крыши, окинул хозяйским взглядом окрестности и задремал.

– Ой... Лихонько... Лихо... Не бери мя, девоньку, в свой темный лес... Не веди мя, Лихонько, в черну пещерь. Ты остави мя, Лихонько, дома с батюшкой... Чур! Чур-хитрец¹, защити мя, девоньку, страхи мои пожри... Чур, мя! Чур!..

– Чегой-то Дарена ныне совсем разошлась? Ай, беду чуёт? – фыркнул, не хуже жеребца, старшой конюший. – Добрыня, – позвал он, – иди, спытай, чего ей там привиделось?

– Сейчас, Кветан, только Буяну корму задам.

Я засыпал золотистый овес в ясли и похлопал мерина по гнедой шее. Вышел из денника, затворил за собой дверь, воткнул железный притвор в петлю чепца, поставил деревянное ведро с остатками зерна возле стены, откинул со лба прилипшую прядку волос, высморкался на земляной пол конюшни, растер ногой и пошел в шорню, из которой раздавались причитания безумной девки.

Здесь я ее и нашел. Она забилась в угол, сжалась в комок на груди перекислых кож, засунула голову под потник недошитого седла и причитала испуганно, отмахиваясь культаей от белого света, точно от злой напасти.

– Чур, мя, девоньку, оборони от Лиха недоброго, от свирепой напасти, от Доли сердитой, от безволия страшного...

– Ну, чего ты, Дарена? – осторожно подошел я к ней, присел рядом, погладил по трясущимся в плаче плечам. – Не пужайся ты так. Сердце себе не рви.

¹ Лихонько – Лихо (Лешак, Леший) – лесное божество, сродни фавну греческих мифов. Злая сила Природы. Чур (Шур) – Божество границ, покровитель собственности (ср. Чур, мое!), питается людскими страхами. Отсюда: черт (стр. слав. ЧЪРТ) – проклятый, нарушивший границы (прежде всего нравственные), черта, очерчивать и т. д.

– Батюшка родненький, – всхлипнула она, голову из-под деревянной рамы вынула и прижалась к моей груди. – Как хорошо, что ты пришел. Я же так напугалась, так мне, девоньке, боязно стало от вороньего грая. Не бросай меня, батюшка. Не оставляй одну, бери с собой в кузню. Я там буду тихо сидеть, как мышка, и в горн не полезу, и под руку тебе слова не скажу. Ты только не оставляй меня, батюшка... – и зарыдала пуще прежнего.

– Тише, милая, тише, – прижал я ее, точно маленькую. – Не оставляю я тебя. Угомонись...

И девка, всхлипнув еще пару раз, стала успокаиваться.

Хорошей Дарена была, доброй и безобидной. Только после того, как отца ее, Любо-яра-ковалю, за бунт варяги лютой смертью казнили, а ей самой руку отсекали, на нее временами находило. Ум за разум забегал, и пророчила девка всякие беды и сама своих пророчеств пугалась.

Белорева бы сюда. Был бы знахарь жив, он бы точно ей помочь смог. Травой бы какой отпоил, отчитал бы, лихоманку бы прогнал. Да помер мой наставник. Лег у кургана Ингвара Киевского, порубленный варяжскими мечами, и с ним много древлян рядом легло. А отец едва живым тогда ушел. Кровавым побоищем обернулось его знакомство с молодой невестой. Так Ольга за смерть мужа отомстила.

Хитра матушка у кагана Киевского. Хитра, да умна. Под стать отцу своему – ярлу Асмуду. После гибели мужа сумела власть над Русью в руках удержать, огнем и мечом мятеж в Киеве умирила. Подняли, было, головы свои поляне, так она их снова к земле пригнула.

Хотел мой батюшка дома наши породнить, распрям конец положить. Замуж ее позвал, но обдурила она нас. Вокруг пальца обвела. Согласилась на свадьбу вроде, а сама варягов потихому наняла. Брата своего, Свенельда, к печенегам за подмогой послала. Сколько могла, время тянула, а как собрала силы в кулак, так и вдарила по жениху.

Не ждали мы преподлого от нее, а вон как все вышло. Сначала землю Древлянскую под себя подмяла, а потом и вовсе стольный град Коростень осадила. Цельное лето мы в осаде прожили. Не могла она нас приступом взять, и измором взять не могла. Только и мы против нее и Свенельдовых наемников ничего поделать не могли. Так и сидели, друг на друга пялились.

В крепкий узел завязалась старая распря между родами, ни распутать – ни разрубить.

Так и упирались бы – всяк со своей стороны, до скончания века. Болеслав, дед мой, круль Чешский, помог, из чащи буреломной выход нашел. Уговорил отца отдать Коростень, а вместе со стольным городом и всю землю Древлянскую. Был князем Мал Нискинич, а стал пленником. Правда, пленником почитаемым.

Уже год он в Любиче безвылазно под приглядом. И власть свою княжескую он Киеву отдал. Иначе вывели бы варяги род древлянский под корень. Перебили бы народ, залили бы кровью поля и леса окрестные. Не стоит власть такой руги.

Вот малолетний Святослав и прибавил к своему званию кагана Киевского еще и титул князя Древлянского. Мать его, Ольга, законной княгиней стала, но за то на людей наших обиду простила.

Пожалел своих отец, и я пожалел. Не стал против такого возражать. Добровольно в полон пошел, и сестренку свою, Малушу, с собой взял. За нее я не беспокоился. Она в Ольговичах, в деревеньке княжеской недалеко от Киева, обосновалась. Под присмотром наших бывших сенных девок Загляды и Владаны. Не захотели они Малушу одну оставлять, в кухарки подрядились, потому, как сестренку Ольга к кухне приставила. Были мы с Малушей княжич с княжной, а стали – конюх с посудомойкой.

Но не горевали мы. Ни я, ни она. Она по малолетству, а я холопства не боялся. Год целый у викингов в трэях выживал. За Океян-Море с ними ходил, в Ледяной Земле, в Исландии, выдюжил. И то ничего. А здесь, среди полян, и подавно живым буду. Девять лет – не вся жизнь. Пролетят быстро. Зато знаю, что где-то недалеко, всего в шести днях пути, ждет меня суженая.

Я, вон, Дарену успокаивал, по волосам ее гладил, к груди прижимал, а сам о любимой своей думал. Не видались давно. Скучаю, сил нет. Как она там? Любава моя. Любавушка...

Не позволил отец нам жениться. Она огнищанка – я княжий сын. Только все одно по моему вышло. Оттого я с легким сердцем от звания грядущего князя отказался. К чему власть, если рядом любимой нет? Вот и я говорю – ни к чему.

И пусть не отпускают меня пока со Старокиевской горы. В крепке держат. Стерегут, пока Ольга с сыном в Нов-город ушли, а Свенельд на Руси порядок наводит. Только терпеливый я. Знаю, что придет день и увижу ее снова. А в разлуке любовь наша только сильнее станет.

Так и сидел я в шорне на кожах. Дарену укачивал, точно дитя. А она совсем успокоилась, придремала даже.

– Оставь ее! – выдернул меня из дум окрик.

Я и сказать ничего не успел. Почувствовал, как чья-то крепкая рука меня за шкуру схватила. Рванула так, что я, словно кутенок, вверх тормашками полетел. Успел заметить, что Дарена так и не проснулась. Вот и ладно. Ее тревожить не будем. А с обидчиком поквитаемся.

Ладонь под щеку подставил, чтоб о землю не дерануло. Кутырнулся через плечо. Чую – рука обидчика с ворота сорвалась. На ноги вскочил. Собрался сдачи дать. Только не сумел. Он проворней оказался. В горло вцепился, к стене прижал. А хватка у него крепкая, как клешня у рака. Придавил в ремни да уздечки, что на стене висели. Если бы не они – затылок бы о бревна разбил.

– Убью! – супротивник змеюкой зашипел.

Только тут я понял, кто на меня набросился. Мотнул головой. Из ремней выпростался, смотрю – Свенельд. Вернулся, значит.

– Дурак! – хриплю. – Отпусти! Девку разбудишь... Опять кричать станет... – а у самого в глазах темнеет.

– Ты чего ее облапил? – не понимает варяг. – Думаешь, что если убогая она, так с ней непотребства творить можно?

– Не лапал я ее... – силы меня оставлять стали. – Успокоить хотел... отпусти.

Он на меня взглянул недоверчиво, но с горла руку убрал. Я по стене тряпкой сполз. На четвереньки опустился. Тошнота накатила, вот-вот выворачивать начнет.

Ртом воздух хватаю.

Отдышаться никак не могу.

– Она вороньего грая испугалась, – я головой помотал, чтоб скорее в себя прийти. – А ты дурное подумал...

– Ладно, – Свенельд рукой махнул. – Не разобрался я.

Он нагнулся над спящей Дареной, ладонью по волосам растрепанным нежно провел. Девка что-то забурбила во сне, а потом улыбнулась вдруг. На бок повернулась. Культю под голову подсунула. Спит.

Тут и я в себя пришел. С пола поднялся. Вдохнул глубоко. В нос привычный запах кожи, конского пота и навоза ударил.

Живой...

– Прости, Добрынка, за то, что набросился на тебя, – варяг на меня глаза поднял, а в них веры нет.

Я в ответ головой кивнул.

– Что? – говорю. – Жалко тебе ее?

– Жалко, – тихо ответил Свенельд. – Пускай спит, – он нехотя от Дарены оторвался.

– Пойдем, – говорит. – Мешать ей не будем.

Вышли мы из шорни. Он за собой осторожно дверь прикрыл.

– Ты когда приехал-то? – спросил я, потирая шею.

– Только что. Коня на конюшню завел. Про Дарену спросил, а мне Кветан говорит, мол, с Добрыном она, в шорне. Вот и досталось тебе ни за что, ни про что, – а сам мне в глаза посмотрел.

Пристально так. Точно выпытывая – было чего, или не было?

– Да, удружил мне старшой, – выдержал я его взгляд. – А ты тоже хорош. Так и угробить можно.

– Ну, да ладно, – похлопал он меня по плечу.

Поверил?

Кто его разберет, что у него на уме? Однако слепому ясно – между варягом и девкой шутоломной Леля² крылами своими махнула...

Вот ведь, как Доля с Недолей порой нить судьбы вяют. Сами крутят веретено, и сами же над работой своей потешаются.

Нитка черная...

Нитка белая...

И вчера еще дочь Любаяра-коваля ножом вострым пыталась сердце варяжское пробить, а сегодня это же сердце тоской любовной иссушает. И понимает Свенельд, что не пара ему Дарена.

Однорукая...

Полоумная...

На варягов сердитая.

Гонит он ее из дум своих. Сам сломя голову прочь бежит. Жизнь свою, словно коня, прищипоривает. Злится и на себя, и на нее, и на весь Мир.

Только что он поделать может? Вошла в сердце заноза, и не вынуть ее. Ни иглой, ни клещами железными. Стонет душа. Кровью обливается. А Доля с Недолей, знай, судьбу завивают.

Нитка белая...

Нитка черная...

Даже жалко его. И себя жалко. Ведь я такой же.

Любовью раненый...

Пусто на конюшне. Считай, что все денники пустые. Один Буян овсом хрумкает – старый мерин, для нужд хозяйских оставленный. И конюхи со старшим во главе кто куда разбежались. В щели забились, спасаясь от воеводина гнева. Тихо вокруг, только крысы в яслях шуршат.

– Эй, Кветан! – позвал воевода.

Тишина в ответ.

– Спрятался, кислый хрен, – стукнул кулаком по деревянной перегородке Свенельд. – Тогда ты ответь, – обернулся он ко мне. – Готовы ли вы? Ольга со Святославом на подходе. Малая с Большой дружиной под Любичем встретились, и я сюда поспешил, чтоб дворню предупредить.

– Мы-то готовы, – ответил я. – Закрома полные. Крышу подновили, ворок³ новым забором обнесли, отаву⁴ выкосили. Сена до весны хватит. Пока табун на выгоне будет, а как снег ляжет, так сюда перегоним.

– Сам траву косил? – спросил воевода.

² Леля – Богиня нежности, крылатая помощница (по мнению некоторых исследователей – дочь) Богини любви Лады.

³ Ворок – загон под открытым небом, обнесенный жердями, где летом ночуют кони и другой домашний скот.

⁴ Отава – трава выросшая на месте покоса.

– Кто ж меня из града выпустит? – пожал я плечами. – Княгиня велела меня дальше ворот не пускать.

– Правильно велела, – усмехнулся Свенельд. – За стенами не спокойно. А нам отец завет дал, чтоб тебя, как зеницу ока, берегли.

Ну, что на это сказать? Да и стоит ли?

– Что про своего не спрашиваешь? – варяг пинком поддал крысу, выскочившую на проход.

Та с визгом взвилась в воздух, шмякнулась о стену и затихла.

– Что-то больно много их развелось, – сплюнул воевода на окровавленный трупик.

– Много, – кивнул я. – Они двух котов сожрали не подавились. Мы уже крысюка⁵ выкармливаем.

– Давно?

– Третью седмицу. Из десяти трое осталось.

– Забавно, – улыбнулся Свенельд. – Надо будет посмотреть. А эту дохлятину убери, – и варяг пошел к выходу из конюшни.

Я сжал зубы, нагнулся, подцепил трупик за хвост и поспешил за воеводой.

– Так как там отец?

– Жив Малко. Чего ему сделается? – бросил через плечо Свенельд.

Меня от слов его передернуло. Обида за отца резанула. Унизил его варяг, именем холопским обозвал.

– Его летом отбить хотели, – Свенельд не заметил моей обиды, – Только не по зубам вашим стены любичские оказались, – он довольно потер руки. – Кто там у вас шрамом на роже красуется?

– Это Путята, – ответил я, а у самого аж сердце зашлось.

– А-а-а, – кивнул варяг. – Знакомец. Ты ему при случае передай, чтоб бросал дурью маяться. Только хуже делает. Малко сам за ним не пойдет. Он договор поклялся блюсти.

– Как я ему передам? – пожал я плечами, с трудом сдержал радость.

Жив, значит, болярин, и отец жив. Помогите им Дажьбоже.

– Хватит прибедняться, – махнул Свенельд рукой.

И тут снаружи раздался рев походной трубы.

– Вот и хозяйева возвращаются, – воевода ускорил шаг. – Как бы Дарену не разбудили, – добавил он тихо.

Вышли мы из конюшни на белый свет.

Шумным он мне показался.

На майдане⁶ перед теремом не протолкнуться. Ворота нараспашку. Дружина пришла.

Горлопанят. Радуются, что в Киев живыми вернулись. А сами замызганные. Плащи алые от грязи черными стали. Будет прачкам работа. Кони загвазданные. По запыленным крупам тонкими ручейками пот бежит. Это уже нам, конюхам, печаль.

Холопы меж конников суетятся. Банщики дрова волокут. С дороги баня первое дело. Мясники быка завалили. Кухари окорока из подполов достали, бочки с хмельным выкатили, пир готовят.

Гвалт на майдане. Суматоха.

Увидели воеводу, еще пуще зашумели.

⁵ Крысюк (крысиный король) – старинный способ борьбы с крысами. В железную бочку сажают несколько крыс. Не кормят их, а дают только воду. Сбесившиеся от голода крысы начинают жрать друг друга. Когда остается самая сильная, ее выпускают. Эта крыса начинает уничтожать своих соплеменников. Оставшиеся в живых грызуны сбегают и долго не возвращаются в это место.

⁶ Майдан – площадь. То же, что у Древлян называлось стогнем.

– Давай, – мне Свенельд велит, – сюда конюхов! Да пошевеливайся. Коней принимать надо.

Я крысу дохлую в сторону откинул и поторопился за Кветаном.

Старшего конюшего я решил искать на сеновале чердачном. У него тут схорон был. Пробыл старшой в сене лаз. Лежку себе обмял, рогожкой застелил. Тепло в лазе, травой луговой медвяно пахнет. И спать хорошо, и холопок податливых пользоваться. И схорониться можно, чтоб хозяевам под горячую руку не попасть.

Обошел я конюшню. Поднялся по лестнице приставной на чердак. Свежим сеном он до конька забит.

– Кветан, – заглянул я в лаз. – Ты тут?

– Воевода ушел? – из темной дыры голова высунулась.

Лохмат был старшой конюший. В бороде трава сухая застряла, в волосах включенных былинка торчит. Ни дать, ни взять – домовою.

– Ушел, – я ему. – Велел коней принимать. Дружина вернулась.

– Слава Перуну и всем Богам. Пронесло, значит, – кивнул он.

Былинка с волос соскочила.

– Говоришь, ратники пришли? – рядом с головой конюшего еще одна показалась.

Девка ладошкой со лба сено смахнула.

– И ты тут, Томила? – улыбнулся я.

– А что? Нельзя, что ли? – улыбнулась она в ответ.

Первой из лаза выбралась, косу поправила, запону⁷ отряхнула. Подбоченилась и мне подмигнула задорно.

– Радуетесь, что теперь к Алдану бегать будешь? – зло сказал конюх, на четвереньках из сена выполз, на ноги встал.

– А что? – снова спросила девка и сама же ответила:

– Алдан мужик видный. При Свенельде в десятниках. Не то, что ты замухрышка. Посторонись-ка, – она меня бочком подвинула и с чердака спустилась.

– Ох, Добрыня, и чего с нами девки делают, – вздохнул Кветан. – Вот кажется, кто она? Ну, Томила эта. Доярка простая. Но до чего горяча...

– Она тебя, что? Как корову доит? – не сдержал я смеха.

– Как быка, – загоготал старшой. – Пошли, что ли? Работать надо...

Мы успели вовремя.

Притихли ратники на киевском майдане. Расступились. Проложили живой коридор от ворот града до терема княжеского. И по этому коридору на Старокиевскую гору въехали хозяева и господа земли Русской – княгиня Ольга и каган Святослав. Мать и сын...

Каган Киевский, Святослав, на отцовском коне сидел. Белом, как облако. Ингварь его все больше в поводу водил. Не любил Ольгин муж верховым быть. Привык с малолетства, чтоб у него ведущий имелся. Сначала дядя, потом Асмуда за поводыря держал, Ольгу, как мать родную, слушался. Так ему легче было. Если что не так – не с него, а с поводыря спрос. Оттого и не стал он сам ведущим.

А конь его, Облак, свободу пуще хозяина любил. Но меняются времена. От вчера к завтра бегом бегут. Был вчера Облак символом власти кагановой, сегодня под молодым Святославом на волю рвется. А завтра... кто знает, что завтра будет?

Никто.

⁷ Запона – холщевый прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Надевался поверх рубашки.

Набьют завтра кишки коня каганова его же мясом, повесят над костром, в дыму закопят. Будет не конь, а снесь для голодного. А то и до человеческих рук не доживет. Порвут волки. Сытью волчьей гордость конская обернется. И кому знать, как лучше? Снедью стать, или сытью? Все одно – конец один. Пустота. Стынь вечная. Так что гуляй, пока гуляется, гарцуй, пока гарцуется, а дальше – что Доля даст...

Обвыкся Святослав в звании своем. Надменно в седле сидит, подбородок высоко задрал. Малец себя и вправду властителем чувствует. Значит, не зря с мамкой по землям Русским прошел. И Ладога, и Нов-город, и Русса старая, и Чернигов со Смоленском ему стремя поцеловали. Только Древляне при своих остались. Князь древлянский в Любиче узником, сын его в Киеве конюхом, а город стольный Коростень огнем пожгли. Вроде и кончился вовсе род Древы, Богумировой дочери⁸.

Но нет.

Шалишь.

Иначе не сознался бы Свенельд, что древлянский люд, с Путяткой во главе, хотел отбить Мала – князя бывшего, из любичского заточения. А что сын его с дочерью на черной работе маются, так это не навсегда. Девять лет как сон пустой пролетят. На свободе всяк себе хозяин. Подождет земля Древлянская, когда снова голову поднять можно будет. И как знать, чем тогда сон девятилетний обернется?..

Эх, юность...

Кажется – подожди чуток и все, как мечталось, сбудется.

А Святослав, хоть и дите, а на коне, словно влитой сидит. Приучился, значит. К седлу приспособился.

Вспомнилось вдруг, как я в свой первый поход ходил. Как задницу с непривычки о седло стер. И друзья мои вспомнились. Славдя и Гридя. И болью по сердцу ударило. Тоской резануло. Марена их в том походе нашла. Я уж вон какой вымахал, а они так чадами и остались. Ну, да пусть им сладко будет в светлом Ирии, в Сварге небесной.

Отмахнулся я от прошлого. Недосуг мне старое ворошить. Как Белорев наставлял – вчера кончилось, завтра не пришло, значит, днем сегодняшним жить надобно. Вот и живу.

А княгиня хороша.

Гордая.

Кичливая.

Едва смотрит на своих воинов. Впрочем, ее ли это воины? Ратью-то Свенельд управляет, а у кого рать, у того и сила. У кого сила, тот и прав. Только Ольга своего не отдаст. Норовиста, что та кобылка, на которой она в свой стольный город въехала, как сядешь на нее, так и слезешь.

И одежда на ней яркая. Незапыленная. Да и с чего ей пылиться? Это дружина по берегу шла, а мать и сын в ладье по Славуте-Днепру спускались. Кони-то под ними не нужные. Отдохнувшие. Небось, не один день их вода днепровская качала. Соскучились по твердой земле, оттого теперь под седоками и выплясывают.

А на Ольге шапка соболем оторочена, охабень лазоревый лисьим мехом подбит, летник черевчатый золотой ниткой изукрашен, а вошвы на летнике жемчугами обсыпаны. Ожерелье на шее тесное, оберегами расшитое. Камень алый с зеленым чередуется. А из подола узкий чоботок торчит, носком острым в стремя вставлен⁹.

Ратники мечами в щиты застучали. Приветствуют кагана и княгиню.

А те посреди майдана поводья натянули.

Встали.

⁸ Древа, Богумирова дочь – легендарная прародительница древлян.

⁹ Охабень – дорожный плащ с капюшоном. Летник – верхняя женская одежда. Надевался сверху рубахи. Вошвы – принадлежность летника. Вшитые украшения. Чоботы – полусапожки с остроконечными носками.

– Вот и наше время пришло, – шепнул Кветан и меня в бок пихнул. – Пошли, что ли? Вышли мы на майдан. К всадникам подошли.

– Дозволь, матушка, – с поклоном земным сказал старшой конюший, – коней принять. Взглянула на нас Ольга. На мне взгляд остановила.

– А чего это ты, Добрынка, без поклона подошел? – строго спросила. Выдержал я ее взгляд.

– Не приучен я спину зазря гнуть, – говорю. – Не закуп я твой. Не рядович. И в бою ты меня в полон не брала. Так что долгов перед тобой у меня нет. Коли конюхом меня определила, так на то воля твоя. Я слово дал и договор держу. Только ниже, чем я есть, меня сделать не в твоей власти.

Опешила она от этих слов. Растерялась. Глаза в сторону отвела. А дружинники, что рядом стояли, возмущенно зашумели. От них и по всему майдану гул пошел. Дерзким я, видать, показался.

Один ратник из ряда вырвался. На меня бросился.

– Как ты посмел, холоп! – кричит.

Меч плашмя повернул. Хотел меня поперек спины приласкать. Да усердие свое не рассчитал. Слишком много прыти в удар обидный вложил. Ушел я в сторону. Только клинок в пустоте просвистел. Потерял вой опору. Заваливаться начал. А я под него подсел, да в бедро его подтолкнул. Опрокинулся ратник. Под ноги каганову коню отлетел. Грохнулся. Хлопнул щитом червленым по земле. Громко у него получилось. Заграяли вороны киевские. В небо взметнулись.

И конь от этого грохота перетрусил. Взвился Облак. Вздрыбился. Святославу бы к шее его прижаться. За луку седельную рукой ухватиться. Только не сумел мальчонка. Ухнул через конскую спину. Только сапоги сафьяновые, бисером расшитые, сверкнули. Головой в землю полетел.

Не знаю даже, как я успел? Подхватил его на руки. Расшибиться не позволил. Так все быстро случилось, что никто ничего понять не смог. Только что каган верхом сидел, а уже у меня на руках барахтается. А когда осознали, что произошло, на меня всей гурьбой кинулись. Дай им волю – затоптали бы меня в ярости. Только воли им не дали.

– Стойте! – Ольга ратников окликнула.

Все и встали.

Мечи вздыблены...

В глазах ненависть...

Покромсают. Порвут на куски за кагана своего.

А я Святослава прикрыл.

– Не напугался? – шепчу.

– Не-а, – он мне тоже шепотом.

Вот и слава тебе, Дажьбоже. Не позволил дитю шею свернуть.

А мальчонка рассмеялся вдруг.

– Мама, мама! – кричит. – Видела, как я с Облака кутырнулся?

И опустились мечи. И ненависть в глазах на радость сменилась. Не убьют меня, значит. Пока не убьют.

– Видела, – облегченно вздохнула княгиня. – Что ж ты так неловко?

– Зато быстро, – ответил Святослав, и вся надменность его улетучилась.

Мальчишка – и есть мальчишка.

Я его на ноги поставил. Он к матери побежал. Не стала княгиня ждать, когда я у нее кобылку принимать буду. Сама спешила. Обняла сына. К себе прижала.

– В порядке ты? – беспокоится.

– А чего мне сделается? – каган из материнских объятий выбираться начал. – Пусти, – говорит, – раздавишь.

Нехотя Ольга объятия свои ослабила. Святослав на свободу выбрался, да к терему побежал. Там его уж сенные девки ждали.

Княгиня ему вслед посмотрела. Улыбнулась. И к ратнику приткому обратилась.

– Как тебя зовут? – спросила.

А тот уж на ноги вскочил. Стоит – ни жив, ни мертв.

– Претичем соратники называют, – отвечает.

– За то, что верность свою проявил, быть тебе, Претич, боярином. Свенельд! – позвала она воеводу.

– Здесь я, княгиня, – и верно, воевода тут, как тут.

– Сотню под начало Претича дашь?

– Дам, княгиня, – кивнул Свенельд и на меня глазищами зыркнул. – А с этим что?

Повернулась ко мне Ольга. И вновь наши взгляды встретились...

– А ведь справедливы его слова, – сказала она. – Правда на его стороне. В договоре нашем речи не велось, чтоб он спину гнул. Хоть и пленный, а право имеет. Благодарю тебя, Добрын, за то, что сына спас, – и вдруг сама мне в пояс поклонилась.

Свенельд избил меня вечером того же дня. За конюшной. У навозной кучи. Отхлестал меня чересседельником, точно нашкодившего кота. И повод нашелся. Дескать, плохо после его жеребца вычистил. Он во время пира продышаться из терема вышел, в конюшню заглянул. Вроде по коню соскучился. В денник дверь отворил, да сразу в кучу конскую и вляпался. Сапоги замарал. Ух, и взвился он! А тут и я под горячую руку подвернулся. Вот и получил выволочку.

Я не сопротивлялся. Знал, что по-другому нельзя. Терпел. Только старался, чтобы ремнем по лицу не досталось. Да кончиком глаз мне не выстегнул. Ведь истинная причина его недовольства сверху плавала. Слово дерьмо на воде.

Гневался он оттого, что я посмел свой норов принародно показать. Да еще и в правых оказался. Ольга, и та передо мной спину согнула. Как тут не разгневаться? Особенно когда хмель внутри бычится. Наружу лезет.

А я боль сносил, а в душе со смеху покатывался. Не сдержался варяг. Всю дурь выставил. Пусть покуражится – с меня не убудет.

Увидел он, что побои его меня не сильно огорчают, разозлился еще пуще, чересседельник на землю кинул, плюнул в сердцах и обратно пировать пошел.

А я отлежался, на ноги встал, слышу:

– Что, Добрынюшка, худо тебе?

Это Томила с чердака за нами тихонько наблюдала.

– Ничего, – я ей в ответ, – небось до свадьбы заживет.

– Ну, лезь ко мне на сеновал, я тебя пожалею.

Губы у Томилы сладкими были. Руки нежными. Плоть жаркой.

От жара этого легче на душе. Да и рубцы от ремня жечь перестало. Кости целы, а мясу, что ему сделается? Отболит, отнедужит и опять, как новое. А ласка женская лучше любого снадобья раны лечит.

Рано в тот год зима пришла. В одну ночь мороз землю схватил и не отпускал больше. Снега навалило по самые крыши. Зябко стало. Знобливо. Хорошо хоть ветры Стрибожичи не сильно лютowali. А то ни дать, ни взять Исландия – Ледяная Земля.

Зимовал я там как-то, когда с Могучим Ормом и хевдингом Торбьерном по Океян-Морю гуляли. Ох, не приведи Дажьдбоже там опять оказаться! С воды ветрище с ног сдувает. Под

ногами пустошь голая. Ни куста, ни деревца – укрыться негде. От голодухи живот к спине прирастает. Одно слово – чужбина.

Здесь, за стенами городскими, зимовать сподручней. И кормят сытно. И одежду теплую нам ключники выдали. Живи – не хочу.

Только не хочется жить.

Тоска меня есть стала.

По сестре, по отцу, по Любаве...

Чуть на стену не лез. А волком по ночам точно был. Правда, тихонько, чтоб остальных конюхов не будить. Зимой несвобода острее гложет. Забористой.

Днем еще ничего. С конями возишься. Не до мыслей дурных. Только зимой дни короткие. Не успел оглянуться – уже темень, хоть глаз коли. В темноте-то много не наработаешь. Лежишь колодой, во тьму глаза таращишь, а в голове кавардак. Может, зря мы уговорам деда Болеслава поддались? Может, биться нужно было до последнего? Лег бы порубанный тогда в Коростене, не маялся бы теперь.

Но если бы, да кабы...

Так не бывает. Есть только то, что есть, и другого нам не дадено. И значит принимать нужно все, как должно. Но как быть, если не принимается? От того и тоска.

Даже не знаю, что стало бы со мной, если бы серость дневная и грусть ночная надо мной верх взяли? Может, так и зачах бы на радость недругам? Только радости им такой я не дал.

26 ноября 947 г.

- Эй, Добрыня, подымайся! – голос Кветана вырвал меня из сна.
– Что? – Потеряла я глаза, стараясь прогнать дрему. – Что случилось?
– Как что? – удивился конюх. – Скоро уж петухи запоют. Пора коней седлать. Княгиня с сыном сегодня на охоту собирались, или забыл?
– Да, помню, – я потянулся до хруста в костях, – только мне-то что? Я ведь опять в граде останусь.
– Так всех конюхов с собой берут, на дневке лошадей греть. Значит, и тебя тоже. Остатки сна словно ветром сдуло.
– Точно? – схватил я старшего за рукав.
– Свенельд велел, – кивнул мне Кветан. – Собирайся.

За последние полтора года мой Мир сжался до размеров Киевского града. Сто пятьдесят шесть шагов с восхода на закат, от дубовых ворот до каменного княжеского терема. Сто девятнадцать шагов с полуночи на полдень¹⁰, от конюшен до бани. Четыреста пятнадцать дней, словно птица в силке, словно рыба в неводе. От конюшен к бане, от ворот до терема. И только над головой синее небо, да облака вольные.

Даже боязно за ворота выбираться. Видно, привык в неволе. Настоящим холопом стал.

Нас, семерых конюхов, Кветан на санях со Старокиевской горы свез. По темну, поперед всех. Буян бойко трусил. Под горку-то сподручно ему. Только снег под полозьями поскрипывает. А вокруг посад Киевский. Горожане проснулись уже. Кто управляется, а кто и ругается нам в след, дескать, какого лешего ни свет, ни заря окрестных кобелей растревожили?

А кабыздохи глотки дерут. Лаем заходятся. Из кожи вон лезут, чтоб усердие свое хозяевам показать. На мерина нашего кидаются. Стараются его за бабку ущипнуть. Только тот на них и ухом не ведет. Знай себе, копытами о дорогу стучит. Из ноздрей пар валит. Ни дать, ни взять – Сивка-Бурка из бабулиной присказки.

Один кобелишко, самый бойкий, под ноги мерину кинулся – за то и поплатился. Кветан его кнутом по спине ожег, а Буян еще и на хвост наступил. Заверещал кобелек. Запричитал, словно плакальщица на похоронах. Рванул в ближайший подворот. Да в подвороте и застрял. Скулит с перепугу. Лапами по снегу елозит. А вырваться из щели не может.

На смех его конюхи подняли. Засвистели. Заулюлюкали. А мне его почему-то жалко стало. Уж больно он на меня похож. Я вот так же застрял. И ни вздохнуть мне в неволе, ни выдохнуть.

– Ты чего, Добрыня, пригорюнился? – пихнул меня в бок один из конюхов.

Котом его наши прозвали. Уж больно он до сметаны охочим был. Говорил, что от сметаны в нем сила мужская ярится, наружу просится. Сам из дреговичей, еще в малолетстве его в полон взяли. Восьмой год в холопах. Скоро вольную должен был получить, только на волю он не сильно рвался, Киев ему родиной стал. Доярки его часто сметанкой баловали, души в нем не чаяли. А он в доярках. А еще в кухарках, свинарках и прачках. Никого лаской не обходил. Я все поражался – и как это у него так лихо выходит: парой слов с девкой обмолвится и уже, глядишь, на сеновал поволок. Одно слово – кот мартовский.

– Так разве ж я горююсь? – отмахнулся я от Кота. – Отвык просто от раздолья свободного. Надышаться никак не могу.

– Это ничего. Сейчас из посада выскочим, на простор выберемся, вот тогда и надышишься.

¹⁰ Восход, закат, полночь, полдень – в данном случае стороны света. Восток, запад, север и юг.

И верно. Вскоре посад позади остался. Мы в чистом поле оказались. Запорошило все вокруг. Снега непролазные. Кветан в сугробы править не стал. Выбрались мы на лед небольшой речушки и дальше покатали. Пару раз Буян на льду оскользнулся, а потом ничего, припоролся. Еще веселей сани полетели.

А над головой небо бездонное. Звезды с кулак. Воздух морозный, чистый, вкусный. Пригляделся – как будто на полночь едем.

– Старшой! – кричу. – Далеко ли торопимся?

– Нам до рассвета в Ольговичи успеть надобно, – Кветан в ответ.

Значит, Малушу увижу. Кровиночку родную. Сестренку. Отлегло от сердца. Радость пришла. Слава тебе, Дажьбоже.

– Добрынюшка! – Малуша ко мне бросилась.

Подхватил я ее на руки, закружил. И причудилось вдруг, что мы в Детинце Коростеньском, а не на подворье княгини киевской.

– Соскучилась, сестренка?

– Ох, соскучилась, – она в ответ и заплакала.

– Ну, чего ты реवेशь? – я ей тихонько. – Смотри, как за это время выросла. Не маленькая уже и слезы свои оказывать недругам не должна.

А она ручонками вцепилась в меня крепко накрепко:

– Ой, Добрынюшка, – шепчет в ответ, – истосковалась я вся.

– Понимаю, Малушенька, только потерпеть надобно. Вот и батюшка велел передать, чтобы крепились ты. Чтоб держалась, как княжне Древлянской подобает.

– Так ты видел его? Как он там?

– Нет, – покачал я головой, – не видел. Он мне весточку передал. Все с ним в порядке.

И о нас с тобой у него душа болит...

– Здраве буде, княжич, – это к нам Загляда с Владаной подошли.

– Был княжич, да весь вышел, – я им в ответ, – в конюхах я ныне у кагана Святослава.

– Для нас, Добрын, – Владана сказала, – ты как не рядись, все одно княжичем останешься.

– И на том спасибо, – улыбнулся я невесело. – Как вы тут, девки?

– Ничего, – Загляда вздохнула.

– Не обижают вас?

– Была тут одна, – Владана косу поправила, под тесемку расшитую ее запрягала, – уж больно нравилось ей княжну шпынять.

– И что? – напрягся я.

– Кипятком она ошпарилась, – Малуша мне тихонько. – Вроде как нечаянно, – а сама на Владану кивнула.

– Не бойся, княжич, – Загляда мне улыбнулась, – мы Малушу в обиду не дадим.

– Помогай вам Дажьбоже, – поклонился я им.

– Добрыня! – слышу, Кветан кричит. – Поспешите!

– Все, девки, пора мне.

Обнялись мы, я Малушу поцеловал и к конюхам поспешил.

– Коли батюшку увидишь, кланяйся ему! – мне вдогонку сестренка крикнула.

– Обязательно, – оглянулся я, а сам подумал:

– Теперь уж скоро увижу.

– Ну, что, Добрыня, повидался со своими? – спросил меня Кот, когда я в сани забрался.

– Повидался, – ответил я. – А чего мы в Ольговичи-то заезжали?

– Так ведь все одно по дороге нам, – улыбнулся Кветан.

– Ой, спасибо, братцы, что уважили.

– Из спасибо шубы не сошьешь, – смеется Кот, а у самого, гляжу, на ушишках сметана след оставила.

– Так ты и без шубы в накладе не остался, – пихнул я его. – Небось, уж кого-то ублажил?

– Не-е, – смеется он в ответ, – не успел. За титьки подергал только. А титьки, я тебе скажу, знатные. Во-о-от такие!

– Ты на себе-то не показывай, – засмеялся кто-то из конюхов.

– А что так? – удивился Кот.

– Да, говорят, что покажешь на себе, то и вырастет.

– Чур, мя! Чур! – запричитал Кот и захлопал себя по груди.

Тут уж все не выдержали. На гогот его подняли.

– Но-о-о! – крикнул Кветан и за гужу дернул. – Давай, Буян, выноси!

И сани наши дальше покатили.

До заимки мы добрались ближе к полудню.

На опушке запорошенного снегом бора, на берегу скованной морозом речушки, стояло обнесенное частоколом просторное подворье. Даже не подворье, а крепостица малая. Охотничья заимка кагана Киевского. Заложенная еще Хольгом, захиревшая при Ингваре, при сыне его, Святославе, заимка снова востребованной стала. По осени подновили холопы частокол, начали ров вокруг стен копать, да не успели до зимы. Только мосток подвесной перекинули, да еще на берегу пристаньку соорудили. Только пристань по зиме без надобности, а вот мосток как раз впору. По этому мосту мы и въехали в тесовые ворота, на широкий двор.

Шумно нас заимка встретила: гомоном многоязыким, лаем собачьим, суматохой холопской. Охотничьи люди суетятся, псари на собачек покрикивают, стольники с кухарками перебранку затеяли – хозяева на подходе, а снедь еще не готова. Ключник на банщиков орет, какого, дескать, хрена, рано топить начали? Дрова прогорели – парные выстужаются. Одним словом – к большой охоте подготовка идет.

Увидел нас ключник, оставил банщиков в покое, на Кветана накинулся:

– Что ж вы, Маренины выкормыши, так поздно приехали? В конюшне печь не топлена, хозяйских коней застудить хотите?

– Ты вот что, – в ответ ему Кветан спокойно, – за своими делами следи, а мы со своими сами управимся, – и к нам:

– Вылезай, ребя. Кот, ты к кухаркам давай, чтоб тотчас у нас еда была. А то отощали с дороги. А ты, – опять к ключнику повернулся, – показывай, где тут конюшня у вас? Да, поживей. Некогда нам тары с барами разводить.

От такого напора ключник аж поперхнулся. Красным от злости стал, только что он, заимщик простой, мог княжескому конюшему возразить? Кивнул, только молча, рукой махнул – пошли мол.

Конюшня просторной оказалась. И холодной донельзя. Иней по стенам, изморозь по полу. В закромах неукрытых овес серой плесенью схватился. Тут уж наш старшой не выдержал, ключнику в бороду вцепился:

– Ах ты, гнида! – завопил. – Добро хозяйское на потраву пустил! – и хлоп ключника кулачиной в ухо.

Кулак у Кветана небольшой, но увесистый. Отлетел ключник, в овес подгнивший зарылся. Руками-ногами забархтал:

– Убивают! – кричит. – Живота лишают!

Тут на крик дворня подскочила.

– Ну, что, ребя, погреемся? – говорит Кветан, а сам рукава у зипуна засучивает.

Один из банщиков взглянул на ключника и нам тихонько:

– Всыпьте ему, ребяташки, а то совсем нас замордовал, скот недорезанный.

Только один из стольников его одернул:

– Ишь, понаехали тут, права качать! Бей киевлян! – своим крикнул.

И завертелось.

На меня трое кинулись.

Я сразу первого в пузо головой боднул. А пузо мягким оказалось. Разожрался стольник на дармовых харчах. Голова моя, точно в подушку пуховую погрузилась. Охнул налетчик и осел. В сторонку отползать стал, чтоб в суматохе не затоптали.

А тут уж второй на подлете. Ручищи выставил, столкнуть меня хочет. Не больно я ему противился. Позволил за грудки схватить, а сам на спину упал, ногой ему в живот уперся, да еще подпихнул для скорости. Перелетел он через меня. В ключника, что из закровов выбирался, врезался. Опять ключник в овес зарылся, да не один, а с товарищем. Вдвоем-то веселей в зерне кутыряться.

Здесь и третий подскочил. Врубился он мне плечом в грудь, чуть дух из меня не выпустил. Отлетел я назад, шагов на пять, а, отлетая, за какого-то дворового зацепился. Он как раз на одного из конюхов насел, и не сдобровать бы нашему, да я его супротивника за собой уволок.

Не ожидал тот. Равновесие потерял, оскользнулся и наземь бахнулся. А я на него. Так что приземление мое мягким оказалось. Дворовый подо мной только крикнул. А я уже на ногах стою.

– Зашибу! – крик от дверей раздался.

Гляжу – Кот от кухарок вернулся. Под мышкой туюсок со снедью, в руке корчажка. Не долго думая, он корчажку об голову кому-то тресь. Лопнула глина, сметана с кровью вперемежку потекла.

– А-а-а! – страшно завопил раненый. – Мозги вышибли! – и из конюшни рванул.

– Эх, – вздохнул Кот, – хороша сметанка была, – туюсок со снедью в ясли у стены отложил и в самую гущу побоища ринулся.

Дальше за ним следить некогда было. На меня опять навалились. Одного я быстро положил, а вот второй покрепче оказался. Здоровый бугай. И повадка у него сноровистая. С наскака у нас ничего не получилось. Я ему в ухо – он пригнулся, он мне в глаз – я отбил. Так и пляшем, друг перед другом, а верх ни один взять не может. Вцепились мы друг в друга, по конюшне закружились. И чувствую я, что замашки у него знакомые. Вгляделся – пресветлый Дажь-боже! Это же Красун! Давний знакомец мой! Вместе в Коростене в послухах ходили. Бородой зарос. Окосматился. Оттого я и не признал его сразу.

Не сдержался я, улыбнулся.

– А не ты ли, паря, – говорю, – меня на закорках по стогню Коростеньскому целый день таскал?

Он от неожиданности хватку ослабил. Всмотрелся в меня, а потом как заорет:

– Добрыня? Княжич! – совсем он меня отпустил, к своим повернулся:

– Вы чего, волки?! – перекричал он шум драки. – Совсем нюх потеряли?! На кого руку подняли? Это же княжич древлянский, Добрын Малович! – и вдруг бах передо мной на колени.

– Ты чего? – я ему тихо. – Не дури.

А сам вижу, что прекратилась потасовка. Опустились руки. Не нашли своей цели занесенные кулаки.

– Ласки прошу, княжич, – Красун на меня снизу вверх посмотрел. – Не признал тебя сразу. До нас слухи дошли, что сгноили тебя варяги в Киеве.

– Живой я, как видишь, – сказал я и руку ему протянул. – Поднимайся. Нечего порты протирать.

– Ага, – сказал Кот весело, у самого юшка из разбитого носа бежит, а он лыбится, – так мы и позволим варягам над Добрыней куражиться. Не дождутся, – и засмеялся.

А Красун с земли поднялся. Обнялись мы точно побратимы. Чуть не раздавил он меня в своих объятьях. Гляжу – и другие с нашими братьями начали.

– А не плохо погрелись, – это Кветан голос подал. – И конюшню заодно прогрели.

И верно. От нас, дракой разгоряченных, пар валит, как в бане. Вроде, теплее стало.

– Кончай веселиться, – в конюшню вбежал мальчонка-псарь. – Где ключник? Княгиня с сыном уже близко! По льду скачут, и Свенельд с ними!

– Тута я! – выбрался ключник из закровов. – Все по местам! – велел. – И чтоб о том, что было здесь, никому ни слова! Кто донесет – голову откручу!

– Во-во! – кивнул Кветан. – А я помогу! Конюхи! Готовься коней принимать! Добрыня! Печь топить, да овес просеивать! Кот! Снедь-то сберег?

– А как же, – Кот достал туюсок из яслей, – вот она.

Через мгновение опустела конюшня.

– Нет, Добрыня, и не рви мне душу, – тихо сказал Красун и помешал кочергой догорающие поленья.

– Неужто не скучаешь по Древлянскому бору? Не хочешь на Родину взглянуть? – продолжал я уговаривать его.

– Не ждет меня никто на Родине, – пожал он плечами. – Одни головешки от Коростеня остались. Отца-то моего помнишь?

– Как не помнить. Знатным конюхом был Колобуд.

– То-то, что был, – взглянул на меня Красун. – Когда варяги дружину княжескую распустили, а коней на Русь забрали, он да я не у дел остались. Я-то попервости ничего, а он закручинился. Тосковал по коням сильно. От тоски и помер. За два месяца убрался. А за ним и мать. И стал я сиротой круглой. Помаялся на пепелище чуток и к полянам подался. Подрядился на три года в охотный люд. Здесь и кормежка, и одежда, и не обижают сильно. Лучше уж в рядовичах ходить, чем с голодухи помирать. А бор, он везде бор. Что тут, что там.

– А ты слышал, что Путята снова дружину древлянскую собрал?

– Слышал, – кивнул Красун. – Только мне ратное дело не в радость. Силой Дажьбоже не обидел, только отваги воинской не дал. Так что прости, княжич, но я здесь, на заимке, останусь. Мне со зверьем сподручней.

– Как знаешь, – сказал я ему. – Только все одно – рад я тебя повидать.

Красун пришел ко мне после захода солнца. Как раз Ольга с сыном, да Свенельд со своими отроками пировать сели. А мы с конями управлялись. Вычистили их, корму задали. Потниками укрыли, чтоб не застудились ночью ненароком.

Свенельд-то, когда своего жеребца в конюшню заводил, на меня покосился.

– Что, Добрыня, – говорит, – радостно тебе за стенами Киевскими оказаться?

Я только плечами пожал. А он мне повод на руки кинул и сказал:

– Скажи спасибо княгине. Это она велела тебя на простор ненадолго выпустить. Боится, что в Киеве ты совсем зачахнешь. Смотри мне, – похлопал он жеребца по шее, – если что, головой мне за коня ответишь, – и ушел.

Я коня в стойло завел, тут и Красун заглянул.

Мы сидели у горячей печи давно. Уже и хозяйева после пира заснули, и холопы на покой отправились. И конюхи мои на сене захрапели. А нам все не спалось. О былом вспоминалось: как в послухах ходили, как отец нас на стогне бороться заставлял, как Жарох-змееньш меня на Посвящении отравить хотел...

Только о грядущем у нас помечтать не получилось. Видно у каждого своя дорога. У Красуна – своя, у меня – своя. Так уж Доля с Недолей захотели...

– А про Ивица ты ничего не знаешь? – спросил я его.

– Они с отцом в Нов-город подались, – ответил Красун и зевнул. – Такие оружейники везде в почете. Так что не пропадут.

– Может, и про Любаву слышал? – наконец, задал я ему вопрос, который меня мучил все это время.

– Вот про зазнобу твою, – покачал он головой, – я ничего не ведаю. Может, она с родичами схоронилась? Ведь Микулино подворье далеко от Коростеня. Могли варяги и мимо пройти.

– Да, боюсь, что не прошли. Свенельд дорогу на их подворье знает.

– Так ты бы у него и спросил, – сказал Красун и снова зевнул, да сладко так.

– Если бы что дурное случилось, он бы сам первым рассказал. А спрашивать у него не хочу. Зачем мне ему в руки лишнее против себя же давать?

– Это правильно, – Красун кочергу в сторонку отложил, встал, потянулся. – Ладно, Добрыня, – говорит, – пойду я... посплю малость. Завтра гон. Мне весь день по сугробам бегать.

– Иди, – я ему. – Надеюсь, еще свидимся.

28 ноября 947 г.

Комок мягкого снега сорвался с еловой лапы и упал на землю.

Я вздрогнул.

– Напугал, зараза, – выругался тихонько и побрел вперед.

Временами зарываясь по колено в снег, осторожно перебираясь через поваленные деревья, прорываясь через заросли дикой малины, я уходил все дальше и дальше.

Замерз так, что пальцы на руках отказывались слушаться. Заледенели. Сколько я ни дул на них – не помогало. С ногами было еще хуже. Я их почти не чувствовал, но упрямо продолжал идти по заиндеветшей чаще.

На три шага вдох, на один – выдох... и снова вдох... выдох...

А погоня все ближе. Все громче раздастся рев охотничьих рогов. Уже слышен собачий лай. Звонко в замороженном бору трещат ветки – всадники пробиваются сквозь бурелом.

И эти жуткие звуки заставляют быстрее переставлять ноги. Спешить, несмотря на холод и усталость. Бежать, точно затравленный волк. Забыть обо всем. Подавить в себе все чувства, кроме одного – страха. Он у меня сейчас в помощниках. Подгоняет. Не дает расслабиться. Сдаться на милость загонщиков. Дескать, вот он я, хоть режьте, хоть ешьте! Захотел сбежать, да не сподобился.

Силенок не хватило.

Кишка тонка оказалась.

Врешь!

Сам себе врешь и не морщишься. Хватит силенок. И страха хватит, чтоб оторваться от охотников.

Ни дичина я, не зверь лесной, а значит, смогу уйти. Смогу на волю вырваться...

На три шага вдох... на один – выдох...

И не знал я тогда, что зря спешу. Не за мной погоня. Что меня еще не хватились. Что все забыли обо мне. Просто следопыты подняли с лежки стадо оленей. Огромного быка и трех важенок.

Взметнулось стадо. Уходит от людей. Только вот незадача – пошли олени в ту же сторону, что и я. Оттого и слышал я за своей спиной охотников. И бежал, бежал без оглядки. Зачем бежал?

Не знаю.

До сих пор понять не могу, как же я на такое решился? Думаю, что внезапная свобода мне голову вскружила. Одурманила. К безумству подтолкнула. Только безумный мог ни с того, ни с сего рвануть в чащобу, не разбирая дороги. А я рванул.

Подвернулся случай, и ноги сами понесли. Словно неведомая волна меня подхватила.

В себя пришел, лишь когда о валежник споткнулся, да в сугроб угодил. Очнулся. Напугался. Только понял, что назад не вернусь. Не хочу обратно холопом становиться. На волю хочу.

На волю!

– Ничего, – шепчу себе упрямо, – вот речушку эту перешагну, со следа загонщиков собью. А там уж легче будет. В землю Древлянскую уйду. Путятю отыщу. Войско соберу. Отобьем батюшку. Из замка Любичского его высвободим. Потом Малушу из полона возвернем. Еще посмотрим, на чьей стороне Правь окажется.

А речушка быстрая. Омутами и водоворотами со стужей борется. Хоть и схватил ее мороз, да не слишком крепко. Ледок под ногами тонкий. Трещит. Вот-вот проломится. Но Дажьбог защитил. Провалиться не дал.

Выбрался я на берег. Дух перевел. Ладонь о ладонь потер. Только шаг сделал – за спиной треск страшный раздался. Оглянулся я, и отлегло от сердца. Не люди это – важенка. Видно пугнули ее охотники, вот она в бега и пустилась. Только в этом лесу каждый сам за себя, как может, так и спасается.

Не стал я время терять, дальше пошел. А важенка речушку перемахнула, рядом со мной проскочила, и дальше в чащу побежала.

– Эх, Рожаницина дочь¹¹, – посмотрел я ей с завистью вслед, – мне бы твои ноги.

Договорить не успел, как за спиной снова треск раздался. И голос человеческий:

– Здесь она прошла! Вон и сход к реке свежий!

Вот от этой напасти побережью стоило. Упал я за ель поваленную, ни жив, ни мертв. Только сердце заячьим хвостом в груди трепыхается. Догнали все-таки. Выследили. Но живым я им все одно не дам. Костями лягу, но в Киев обратно не пойду.

Выглянул я тихонечко. Вижу, всадники на лед спускаются. Двое всего. Присмотрелся – так это же Ольга. И Красун с нею. Вот молодец! Решился таки. И княгиню за собой заманил. Слышу, как кричит он ей:

– А важенка жирная! Не успела еще наголодаться! Мы ее на том берегу нагоним!

Я уже подниматься из-за елки начал, хотел ему рукой помахать – давай, мол, сюда, и варяжку прихвати, она нам теперь сгодится. Да не успел.

Лед под ними треснул, и ахнули всадники в полынью – брызги в небушко.

Схватила их река, водоворотом закрутила. Кони копытами по ледяной шуге бьют, люди в холодрыге барахтаются. И рады бы из воды на сушь выбраться, да не могут. А одежда тяжелая. мех влагой студеной напитался, на дно потянул. Держит речка добычу свою, не отпускает. А топяки кричат в страхе, за жизнь свою борются, из последних сил стараются. Только мало сил. Вот-вот одолеет их быстрина. Заглотит пучина Водяному на забаву.

Я долго раздумывать не стал – на выручку кинулся. Выскочил из укрытия своего и к полынье поспешил. Слетел с берега, лег на лед, ногами от земли оттолкнулся и заскользил.

– Держись! – ору, а сам кушак обмерзшими пальцами развязываю.

Совсем руки отказали. Заледенели, точно сосульки. Рву узел, а толку никакого.

– Помогите! – на весь лес завопил, в надежде, что загонщики меня услышат, да на выручку придут.

Но не услышали – видать, выше по реке прошли. И лай собачий, и крики их удаляться стали. Значит, нет мне на их подмогу надежи.

– Добрыня! – слышу, как Красун кричит. – Выручай!

– Сейчас... сейчас... – шепчу, а сам мороз и охотников на чем свет стоит ругаю.

– Помоги! – это уже Ольга заголосила.

Поддался узел.

Развязал кушак.

Бросил конец.

Не долетела опояска моя, чуть-чуть не долетела.

Подполз еще поближе, а под пузом лед потрескивает – как бы самому не провалиться.

– Красун, за коня держись! За луку седельную! – а сам опять кушаком размахнулся.

Удачно.

Схватила княгиня за опояску накрепко, и откуда силы в ней? Я за кушак потянул, чую – к полынье сползаю. Развернулся к промоине ногами, на спину перекатился, уперся

¹¹ Рожаницина дочь – самка оленя считалась животным воплощением женской ипостаси Рода.

в наледь, опять потянул. Соскальзываю, в лед вжимаюсь, и Дажьбога поминаю, чтоб сдюжить. А у самого кости от натуги трещат. Тяжело. Набухло Ольгино корзно, точно камень неподъемный.

– Скидывай плащ! А то он и меня на дно утащит!

Но она вцепилась в кушак и боится руку от него оторвать, чтоб застежку на корзне отстегнуть.

А тут кобылка Ольгина взбеленилась. С перепугу совсем с ума сошла – принялась пуще прежнего копытами молотить. На коня Красунова полезла. Да со всего маху ногой Красуну по голове. Вскрикнул тот и обмяк.

– Красун! – заревел я. – Красун, очнись! – а он молчит.

И вижу, как рука его с луки седельной соскользнула, как водоворот его под лед затаскивает. Вижу, а поделать ничего не могу – в руках кушак, а на другом конце Ольга.

– Красун! – а у самого от бессилия слезы наворачиваются.

Еще сильнее за опоясок ташу.

У самого силы на исходе.

А она ни в какую!

– Дура! – это я княгине. – Ты конец-то на руку намотай, а другой с себя плащ рви! Не удержу ведь! Отпущу!

Видно, дошло до нее, что не шучу я.

Отстегнула застежку.

Ушло корзно под воду вслед за Красуном.

Дальше – легче.

Выволок я ее на твердый лед, откинулся навзничь, воздух ртом хватаю, чтоб дух перевести. Княгиня на четвереньках ко мне подползла. Мокрая вся. Вода с нее ручьями бежит. У самой от холода зуб на зуб не попадает, а она, из последних силенок, по щеке мне ладошкой залепила.

– Это тебе за дуру, – просипела и рядышком рухнула.

Вот и мне бы немного полежать, с силами собраться, но только некогда. На Ольге одежда стала коростой морозной покрываться. Совсем заледенела баба. Жалко ее. Она хоть и варяжка, и лукавством своим из меня, княжьего сына, конюха бесправного сотворила, да все одно живой человек. Не хочу ее Марене отдавать. И так смерть вволю сегодня попиrowала, Красуна с собой в Пекло забрала.

А варяжку я ей не дам.

Заторопился я. На ноги вскочил. Ухватил ее за ворот и на берег потащил. А ее трясет. Ну, да с этой бедой мы мигом.

Доволок я ее до укрытия давешнего, до поваленной ели. Снег под стволом разгреб, а под снегом лаз. Елка-то упала, но ствол не на землю лег, а на ветви оперся. Медведи в таких укрытиях любят берлоги устраивать. Хвоя густая, а сверху еще и снежком прикрывает. Ни дать, ни взять – шалаш. Вот туда я и стал Ольгу впихивать. Сам спиной сквозь ель пробиваюсь, а ее за собой тяну. Заволок кое-как. Огляделся. А шалашик-то просторным оказался. И нам двоим, и костру место найдется.

Теперь огонь нужен.

Пробил дыру в снежной крыше нашего схорона. Расчистил ее, чтобы от дыма не задохнуться.

– Потерпи, – это я Ольге, – скоро согрешься.

А сам веточек наломал, хвои пожелтевшей надрал. Снега под валежиной не много оказалось. Надежно от вьюги зимней елка свое ложе укрыла. Распихал я его по сторонам, а тут

и трава пожухлая. Вырвал пучок, трех скинул, об затылок траву натер. Потом из калиты¹² кремнь с кресалом достал, чагу¹³ сушеную. Веточки вокруг травы клетью выложил. У самого руки трясутся от холода, да от спешки. Развалилась моя клеть. Изругался я на себя за торопливость и наново ветки выкладывать начал. А спешить надо. Теперь каждое мгновение на счету.

– Огнь-огнец, живому отец, яви буйность свою ярую, душу жаркую, тело горячее, кровь жгучую, силу могучую. Обогрей и оборони от холода, от ворога, от глаза недоброго, от лихomanки злой, от тоски пустой. Дам за то тебе веточку – кушай, да меня слушай. А слова мои крепки и лепки, крепче Камня Алатырного, да лепче Земли-Матушки, – скороговоркой пробубнил я и ударил кремнем по кресалу.

Брызнули искры. Занялась чага. Дуть я на нее начал. Затлел трут, а я к огоньку травинку приложил. Подымила она чуток и вспыхнула. Вот и огонек появился. А потом и костерок занялся.

Всего несколько мгновений ушло у меня на то чтобы костер развести, а и они вечностью показались. Теперь и за бабу приниматься пора. Парча да поволоки дорогие на ней водой наскрозь пропитались. Закоженели во льду. Я с нее их снимать начал, а они в руках, как слюда оконная, хрустят. А Ольгу колотун бьет. Зубы клацают. Она сказать что-то хочет, а вместо слов мычанье с завываниями.

– Ты молчи лучше. Молчи, – я ей тихонечко. – Тебе силы беречь теперь надобно, – а сам ее из одежды каляной высвобождаю.

Спохватился. С себя обьжку¹⁴ овчинную скинул, чтобы было, во что Ольгу укутать. Рядом с костерком расстелил. Самого морозец куснул, да, небось, всего не выкусит.

Кое-как раздел бабу. На подстил положил. Красивая она, но мне сейчас не до красоты. Растирать ее начал. Она стонет, все старается прикрыться от меня, а я тру ее и приговариваю:

– Лихоманка злая, изморозь седая, это тело не твое дело. Вон из него и из места сего!

Долго тер, даже сам взопрел. Смотрю – только ступни у нее от холода синюшные, а сама розоветь начала, в глазах туман рассеивается.

– Вот и славно, – обрадовался я, в обьжку ее завернул и ногами к костру придвинул. – Ты полежи тут, – говорю, – а я сейчас.

Выполз из убежища нашего. Огляделся – коней нет. Они лед до самого берега взломали и, пока я из Ольги лихоманку гнал, сбежали.

– Плохо это. Ой, как плохо, волчары вас задери! – выругался в сердцах.

Но мороз долго сокрушаться не позволил. Лапника с елок я наломал, охалку целую. Снег с хвой сбил и обратно в шалаш полез.

– Ну, что? Согреваешься?

– Д-д-да, в-в-вроде, – отвечает.

– Ничего, – говорю, – сейчас еще теплее станет.

Лапником наш шалаш застелил. Еще веток в костер подбросил. Зашипели они змеюкой, паром посвистели и занялись. Огонь заплясал, и от костра волнами полилось спасительное тепло.

Я одежду Ольгину вокруг на ветви развесил, а сам ступни ей растирать начал. Чую – нога у нее дернулась. Щекотно значит. Со второй дела похуже оказались.

– Что там? – спросила она, поморщившись от боли.

– Худо, – покачал я головой. – Пальцы отморозила. К утру распухнут. Ходок из тебя никудышный.

– А кони?

¹² Калита – кошель. Обычно калиту носили на поясе, либо на тонком ремешке, на шее и хранили в ней все самое ценное.

¹³ Чага – древесный гриб, использовался в качестве трута.

¹⁴ Обьжка – меховая, чаще овчинным мехом внутрь, одежда, тулуп.

– Ушли кони, – вздохнул я, а потом взглянул на нее. – Сама-то как?

– Трясет еще. Зябко, – ее передернуло.

Снег в ее волосах начал таять, и прядка прилипла к влажному лбу. Губы посинели, на щеках проступил нездоровый румянец, но в глазах ее была решимость. И понял я, что просто так она не сдастся.

– Греться будем, – твердо сказал. – Не то к утру совсем задубеем.

Скинул с себя зипун и рубаху. Поежился от холода. Стянул ноговицы, развязал онучи, размотал их, развязал гашник, снял себя порты и исподнее. Мое голое тело сразу покрылось мурашками, но я постарался не обращать на них внимания.

Затем весь этот ворох одежды расстелил на лапнике.

– Т-ты чего задумал-то? – утихшая было дрожь вновь вернулась к ней, а в глазах появился страх.

– Да не бойсь ты, – я невольно улыбнулся. – Выживать я задумал. Забирайся сюда, – кивнул я на лежанку. – Глядишь, к утру твоя одежда просохнет, а вдвоем-то под обыжкой теплее будет.

Она мгновение поразмыслила, а потом кивнула и, стараясь не потревожить обмороженную ногу, заползла на ложе.

– Ну, чего ждешь? – она откинула полог обыжки и вдруг сама улыбнулась хитро. – Давай быстрее. Застудишься.

Трещали в костре смолистые еловые ветки. Пахло разопревшей хвоей. Паром исходила развешанная одежда. Весенней капелью звенел подтаявший снег. Ольга спала, приткнувшись к моему плечу, изредка вздрагивала во сне и постанывала. Жар ее накрывал. Но этот жар был сейчас спасением для нас обоих. Ее тело доверчиво прижималось к моему, рука обнимала мою грудь, а больная нога покоилась на моих ногах. Тепло от костра было в нашей берлоге. Тепло было под овчиной.

Я вполглаза дремал. Время от времени осторожно, стараясь не потревожить Ольгу, подкармливал ветками огонь, а сам все думал о своей странной судьбе. Искал, но так и не находил ответа на вопрос, который когда-то задал своему наставнику Белореву. Вопрос: ЗАЧЕМ?

А еще Красуна жалел. Вспоминал, как его на Посвящении ратником нарекли. Не захотел он по нареченному жить, на бранном поле свою голову класть, в охотные люди подался. Выходит, Долю не перехитрит? Не мытьем она свое возьмет, так катаньем. Тяжко ему теперь. Мог бы в Сварге сейчас с пращурами за столом сидеть, песни петь, Правь славить, а вместо этого к Водяному в угодники попал. И когда теперь снова в Явь вернется, неизвестно. Может, отпустит его речной хозяин? Натешится и отпустит. А может, при себе в русалах оставит на веки вечные.

А что же мне судьба уготовила?

– Ты станешь великим ярлом, Добрын, сын Мала, – так мне Вельва в Ледяной земле напорочила.

Ошиблась, видать.

Конюх я.

Холоп бесправный.

Сбежать хотел, да и на это силенок не хватило. Хозяйку свою пожалел, а воли лишился. Вот, наверное, Недоля сейчас надо мной потешается...

А может, время еще не пришло? А может...

Сморил меня все же сон.

Словно в бездну я провалился...

И очнулся вдруг. Оттого, что губы влажные на груди своей почуял. И не разобрать сразу: то ли мне Любава снится, то ли мы на сеновале с Томилой задремали, а может, девка распутная – Гро, дочь Трюггваса, мне причудилась?

И вдруг понял я, чьи это губы.

Ну и что?

Пусть хозяйка. Пусть варяжка. Пусть недруг.

Баба – она баба и есть...

29 ноября 947 г.

– Ногу я тебе ненароком не потревожил? – спросил я Ольгу утром.
– Дурачок, – ответила она, – разве же в такой миг боль чувствуешь? – а потом вздохнула:
– Знал бы ты, как давно я вот так, на мужское плечо, голову свою не клала. Любый ты мой... – и в бороду поцеловала.

А в глазах блеск горячечный.

– Это Трясавица в тебе тешится, – погладил я ее по руке. – Выбираться нам надо. К людям идти. Не то она тебя совсем спалит.

– А может, останемся? Знойно здесь. Покойно, – шепчет, а сама теснее ко мне прижимается.

– А сын твой как же? Без мамки Святославу нелегко придется.

От этих слов она встрепенулась. В себя пришла. Взглянула на меня, точно впервые увидела, головой тряхнула, словно наваждение прогоняя. Волосы ее по плечам рассыпались, грудь прикрыли.

– Чего же это мы? – спросила растерянно.

И заторопилась. Засуетилась. Принялась одежду свою с ветвей снимать. Повернулась неловко. Ногой, обмороженной, за сучок задела. Вскрикнула от боли и заплакала навзрыд.

– Погоди, – я ей тихонечко. – Сейчас.

А сам обыжку скинул, гляжу – пальцы на ноге у нее словно сливы спелые. Я на них подул и зашептал:

– Боля, ты, боля, Марена Кошевна...

– Полегче вроде, – через некоторое время сказала она.

– Ненадолго это, – вздохнул я устало. – Одеваться нам надо. Давай помогу тебе.

– Сама справлюсь, – оттолкнула она мою руку.

Липкий пот заливает глаза. Щиплют от соли веки. Чешутся брови. Так хочется утереться, а то и вовсе рухнуть на землю и зарыться лицом в снег. Так хочется. Но понимаю, что нельзя мне. Замерзну. Засну. И ношу свою заморожу. Оттого и терплю. А ноша у меня не легкая. И с каждым шагом все тяжелей становится.

У меня на закорках Ольга сидит. За плечи меня обнимает. А я руками ее под колени подхватил и тащу по своим вчерашним следам. И буду тащить, пока без сил не рухну.

Давно иду. И силы уже на исходе. Но знаю, что недолго осталось. Еще чуть-чуть и либо выйдем мы, либо в бору заснеженном вместе ляжем. В обнимку.

На одной ноге у нее сапог, а на другой обмотка. Я одну из сорочиц ее на ленты изодрал, на онучи пустил. А сапог у елки поваленной кинул. Лишней обузой он. А сапог хорош. Бисером расшит. Камнями разноцветными. Будет теперь зверью лесному забава.

Ольга-то ничего. Крепитесь. Поначалу подбадривала меня.

– Была у меня кобылка, а теперь жеребчиком обзавелась.

Но это поначалу было. Теперь молчит. Сопит над ухом только, да покашливает. А кашель противный. Сухой. Без мокроты. Дурной знак.

Отвара бы ей, малины сушеной. Молока горячего с медом. Ну, да это потом. Когда к людям выйдем. Небось, ищут ее, с ног сбились. А она здесь. Конюха оседлала...

Все.

Нет больше мочи.

Упаду сейчас. Вот еще пару шагов сделаю и упаду. Или еще на шаг силы хватит?

Хватило.

И еще один сделать можно, если бы не пот. Совсем глаза залил. Не вижу куда иду. Может, уже и со следа сбился?

Нет. Вот он, след. Темной цепочкой по снегу белому. Тут я вчера о валежник спотыкался? Или не тут?

Я уже падать собрался, и вдруг лай собачий услышал.

– Эй! – что есть силы закричал, и бор эхом отозвался. – Здесь мы! Сюда! Э-э-эй! Ау!

Точно. Собака бежит. В ухо мне языком. Как же она до уха-то достала?

Понял.

Не трудно достать, коли мы на снегу лежим. Не заметил, как упал. Как там Ольга? Не ушиблась ли?

А она мне:

– Ты забудь о том, что меж нами ночью было, – и снова застонала.

А что было?

Я и не помню уже.

Догнала меня горячка. Настигла. Зубами острыми вцепилась, как лиса в полевку. Сглотнула – и нет меня. В жару, да в бреду растворился. Явь с Навью перепутал. День светлый с темной ночью в сумрак серый превратились. И несло меня по этому сумраку, на волнах качало, то вверх к небесам вздымало, то вниз в бездну отбрасывало.

И не вспомнить теперь, как нашли нас. Как в Киев доставили. Знаю только, что меня за побег неудачный никто не корил. То ли не поняли, как я вдруг у той речушки оказался, то ли поняли, но виду не подали. Мол, княгиню от смерти спас, а как и что там у них случилось – не важно уже. А может, Ольга меня от кары уберегла? Она мне про то никогда не рассказывала. Да и не до того нам потом было. Не до того.

6 декабря 947 г.

Разрывало меня от простуды. Кашель душил. В грудь точно кол осиновый вбили, да с крюками железными, и тянут за него – меня наизнанку распростать хотят. И душа наружу вот-вот выпрыгнет, да по округе плясать пойдет. И впрыскаду пустится, и с подвыподвертом, и с коленцами всякими. То ли воле радоваться будет, то ли по телу моему горевать. Жаром жгло. От жара вздор в голову лез. Чушь всякая грезилась. То Красун ко мне приходил. Все корил, что варяжку спас, а его не пожалел. То Свенельд надо мной смеялся. Подначивал.

И я уже не я вроде, а крысук в бочке. Жмусь к стенке железной – студено мне. Боязно. А супротив недруг мой шерстью серой ошетинился. Усищами шевелит, носом – пуговкой поводит, точно вынюхивает меня. Хвостом, как бичом пощелкивает.

Унюхал. На меня бросился. Клыками в горло вцепиться старается. Лапами когтистыми по груди царапает. Сейчас придушит меня и на прокорм пустит. Не желаю я в снесь идти. Отбиваюсь. Хлещу хвостом по бокам вражьи. Зубы его своими зубами встречаю. Из объятий его вырываюсь. От шерсти, что в рот набилась, отплевываюсь. Наседает он. Наскакивает. Писком пронзительным меня изводит. Коготком глаз мне вырвать хочет. Словно знает, что из бочки наружу лишь один живым выйдет.

А сверху то луч солнечный пробивается, то тень накрывает. Это люди над бочкой склонились. Ревут радостно. От рева по бочке эхо раскатывается, нас с толку сбивает. И от этого злость во мне в ярость оборачивается. И уже не я от него, а ворог от меня бегать начал. От нападок моих уворачивается. Хвост свой лысый жмет. Только нет во мне сострадания. Озлобление мне глаза застит. Смерти его хочу. Крови жажду. Прижал супротивника к железному полу. Лапами горло ему сдавил. Уже не пищит он, а только повизгивает. Я уже победу чую. Ликую ошалело. И вдруг вижу, что у противника вовсе не морда крысиная, а лицо человеческое. Мое лицо. И не крысу я давлю, а себя убиваю. И тогда закричал я. И крика своего утратился...

– Добрыня! Добрынюшка! Тише! – слышу голос ласковый.

Голос этот я ни с чем не спутаю. Так только Любавушка моя нашептывать может. Значит, один мой бред на другой наехал. Значит, наваждение продолжается.

– Милая моя, – я в ответ. – Как же рад, что пришла ты ко мне. Хоть навкой, хоть мороком бестелесным, – говорю, а глаза открыть боюсь.

Знаю, что растает она. Дымкой улечучится. Туманом расползется. Лучше уж так, как есть. Голос ее слышать. Ладонь ее мягкую на щеке чувствовать.

Ладонь?!

Какая же ладонь у морока?

– Любава? – не утерпел я, веки тяжелые поднял.

Не растаяла она. Не исчезла. Надо мной склонилась. На лице улыбка, а в глазах нежность.

– Любава! – крикнул, но крик мой шепотом обернулся. – Ты тоже умерла? Так вот он какой, светлый Ирий!

– Ну, чего ты дурной? Рано нам помирать. В жару ты, Добрынюшка, только кончится это скоро. Ты же помнишь, что ведьма я? Худое уже позади. Теперь на поправку пойдешь. Тебе теперь побережешься надобно.

Какое бережешься? У меня от неожиданного счастья такого голова кругом пошла.

– Так как же это? Так откуда же ты? Так где же мы? – руку ее схватил и к губам прижал.

– Будет, – улыбнулась она, – будет тебе. В Козарах мы, у Соломона на подворье. В дому его. Лекарь в граде. В тереме княжеском он варяжку пользует. На ноги ставит. А тебя велели сюда принести, под мою опеку.

– Давно мы здесь?

– Да уж поболее седмицы. Я же теперь в помощницах у него.

– Как же так?

– Да вот так. Считаю, два лета в неведение промучилась. Батюшка с матушкой уговаривали, чтобы дома тебя дожидалась. Не хотели меня к полянам отпускать. Боялись, что обидеть в дороге могут. Вот и маялась в разлуке, были бы крылья – в Киев бы улетела. Уж больно с тобой повидаться хотела. А тут и случай подвернулся. Как снег лег, да реки встали, пришли к нам варяги. Ругу от земли Древлянской для Руси собирали, а дядька Куденя у них за обозного. Я с обозом и пристроилась. Долго мы от одного подворья к другому ходили, с огнищан подать брали. Наконец сюда пришли. В град меня не пустили, так я стала подворье Соломоново искать. Мне люди добрые на этот дом указали. Как узнал лекарь, что я Берисавы-ведьмы дочка, сразу принял меня. Рассказал, что жив ты, что здоров. Да вот незадача, я же сюда пришла в тот день, когда вы на охоту уехали. Я Соломона упрашивать стала, чтоб он в доме своем меня приютил хоть полемойкой, хоть стряпухой, хоть за свиньями смотреть. А он рассмеялся:

– Откуда в этом доме свиньи? – говорит. – Оставлю тебя, коли расскажешь, как матерью твою болезных исцеляет.

А я и рада-радехонька. В последнее время мы с матушкой на пару народ принимали. Уж больно много увечных и болящих после нашествия полянского оказалось. Теперь я почти ничем ей в силе не уступаю. И Соломона заговорами, сборами, мазями и отварами удивила. Он только записывать успевал. А потом и вовсе попросил в помощницах у него походить. Тут и охотники вернулись. Я снова ко граду собралась, а тут тебя принесли. Простужен ты был сильно. В горячке буробил. Томила какую-то поминал и варяжку эту, словно было у тебя с ними что-то, – и вдруг внимательно на меня посмотрела, точно в душу самую заглянула.

– Будь ласка, Любавушка, – отвел я глаза. – Было.

– Выходит, кончилась твоя любовь ко мне? – я почувствовал, как напряглась она, как насторожилась.

И что ответить ей? Что сказать?

Промолчал я.

А она руку свою от меня убрала. Встала молча и вон вышла. Вот тогда мне захотелось умереть. Тошно стало. От себя тошно. Только было же. И не избавиться от этого. И из жизни не выкинуть.

Долго я один оставался. О многом передумал. Лежу, Марену зову. Чтоб пришла она, да в Пекло с собой забрала.

Но вместо смерти Любава дверью скрипнула. Принесла питье в берестяном корце. Ко мне подседа, голову мне приподняла.

– Пей, – говорит. – Тебе надобно.

А глаза у нее, словно льдинки холодные.

– Мне бы отравы сейчас, – отвернулся я от питья.

– Пей, что даю, а отравка дело последнее.

Выпил я варево. Она мне губы, как маленькому, тряпицей утерла и встала. А я ее за руку схватил.

– Погоди, – говорю.

А она мне:

– Чего годить-то?

– Не прошла моя любовь. Сильнее в разлуке стала. Каждый день о тебе думал. Каждую ночь во сне видел...

– Так чего ж ты тогда?

– Я же в них тебя искал. Не нашел. Нет такой второй на всем белом свете.

Вновь взглянула она на меня, а потом отвернулась.

– Мне тебя на ноги поставить нужно, а разбираться после будем, – наконец, сказала и меня в одиночестве оставила.

Она ушла через три дня. Не простившись. Я как раз с постели подниматься начал. Ноги на пол опустил, Любаву позвал, а вместо нее Соломон пришел. Он-то и сказал, что она по утру с подворья ушла.

– А куда?

– Это мне не ведомо, – покачал головой старый лекарь. – Упустил девку, Добрын, чего же теперь горюниться? Гордая она, а гордую обидеть легче легкого.

– Не девка она, – я ему, – жена мне перед Богами.

– Ну, тем более. Только если любовь у вас настоящая, то свидитесь еще, и все у вас наладится. Так что успокойся и на здоровье настраивайся. Вот, держи, это она оставила. Не то забыла, не то с умыслом, – и колту мне протягивает, а на ней волосок ее узлом завязанный.

Я колту к губам прижал и в калиту спрятал. Решил, что непременно верну. Вот только когда? А не важно...

А чуть позже, когда совсем поправился и к своим вернулся, встретил Томилу, поздоровался, а она от меня, словно от чумного, убежала. Я, было, удивился, но Кветан мне пояснил:

– Девка какая-то Томилу после дойки перестряла. Сказала, что если подойдет она к тебе – чирьяками изойдет и гноем вытечет. Напужала доярочку нашу. Она теперь на конюшню и носа не кажет. Все со своим Алданом-десятником возжается. Жалко. Знойная она. Покладистая. Эх! – и в сердцах рукой махнул.

Я только головой покачал, а про себя подумал:

– Ведьмочка ты моя. Любимая.

Глава вторая

Солнцеворот

24 декабря 947 г.

Оглушительно режут трубы в Киеве. Разносятся окрест их громогласные голоса, а под стенами им вторят жалейки да рожки. Шумит стольный град земли Русской. Радость разливается по посадам и слободам. Праздник заставил народ обыденным делам своим передышку дать.

Пришел Коляда – отворяй ворота!

Хорс-Солнце на весну повернул, день на воробьиный шаг прибавку сделал, оттого людям и весело. И пускай морозец покусывает, а ветерок за ворот забирается, все равно до весны уже недалеко.

По всей земле народ празднует. В Нове-городе и за Океян-Морем, у фрязей и у хазар с ромеями, в теремах властителей и на каждом подворье огнищанском в этот день празднество бурлит. У всякого рода свой обычай: у викингов Йоль, в Царе-городе Рождество, а в Киеве Коляда. Так разве в прозвании дело? Важнее, чтоб предлог был, а повод ныне нешуточный: позади осталась самая длинная и студеная ночь в году, Коло годовое поворот сделало, вот и поют рожки с жалейками, а люди эти песни подхватывают.

Стараются гудошники¹⁵, душу ртом выдувают, да только громче труб и дудок визг пороссячий. Людям праздник, а племени свиному – Света конец. Почти в каждом дворе поросся режут, потому и вопят боровы со свинками, и на жизнь свою недолгую Сварогу жалятся. Летят к небесам их мольбы вперемежку с музыкой.

Не до свинских дел нынче Богу Отцу, ему бы с отпрысками своими разобраться. Перун-громовержец в Сварге пир закатил и перемогу¹⁶ празднует. Научил он Марену, как Дажьбога ей заполучить, а Кощеева дочь и рада. Истомилась она, иссохла вся. Померла бы от тоски любовной, но разве смерть помереть может? Вот муки и терпела, пока хитрец Перун ее не надумил в питье Дажьбогу зелья сонного подмешать. Задремал светлый Боже, а Китоврас его к смерти в Пекло отнес. И пусть полюбовник в беспамятстве, зато под бочком. Да и сам Перун в накладе не остался. Он давно любви от Майи Златогорки, жены Дажьбоговой, добивался, а когда муж в отлучке, легче к жене одинокой в постель залезть. Оттого и пирует Громовержец, а сам Златогорке хмельную сурицу¹⁷ в чашу подливает.

Только прознал о коварстве Перуновом друг Дажьбога, Мудрый Велес, и Отцу о том рассказал. Тогда велел Сварог сыну Дажьбогову, Коляде, летучую ладью строить, да в Пекло лететь, Дажьбога ото сна поднимать. Чтобы вернулся Дающий¹⁸ в Мир. Чтобы дал он людям весну и надежду¹⁹.

Эту сказку я в детстве от бабушки слышал, а потом ведун Гостомысл мне, послуху, значение этой истории объяснил. Здесь, у полян, ее по другому рассказывали. И Перун, покровитель земли Полянской, вовсе не злодеем, а благодетелем выходил. Дескать, если бы не его хитрость, подарил бы Дажьбог людей благами разными, разленились бы они, расчванились. Стали бы не лучше свиней, что только месиво жрать, да гадить могут. Вымер бы от праздности род человеческий. А так – с дарами земными на зиму передышка, и людям это только на пользу. И если в Коростене пороссят резали Коляде в дорогу, то в Киеве режут, чтоб Громовержец на своем пиру не за пустым столом сидел.

¹⁵ Гудошники – музыканты, трубачи.

¹⁶ Перемога – победа.

¹⁷ Сурица (сурья) – священный слабоалкогольный напиток из молока, меда и хмеля.

¹⁸ Дающий – собственно «Дажьбог» на современный язык переводится, как «Бог Дающий».

¹⁹ Подобные легенды о засыпающем (умирающем) и воскресающем боге известны практически у всех древних народов. См., например, древнеегипетский миф об Осирисе.

Но, как бы там ни было на самом деле, а свиньям от этого не легче. Потому и визг стоит с самого утра по всей Руси.

Только в Козарах тишина. Не ест народ, Богом Невидимым избранный, свинину. И другие гости, пришедшие с востока, не едят. Брезгуют. Говорят, что у свиньи мясо нечистое. Ну, так это их беда. Значит, нам больше достанется.

Невеселы и латиняне с греками, те, что товар диковинный на Русь привезли. Собрались в церкви Ильи Пророка на берегу Почай-реки и молятся своему Иисусу. Пост у них. Воздержание. До первой звезды им даже росинки маковой в рот нельзя, потому и смурные. Так в смурости и ждут дня рождения своего Бога. А день этот самый только завтра наступит. Вот тогда они распотешатся. А пока овцы Божии, как они себя называют, в молитвах день проводят под строгим надзором пастуха своего Серафима. И не разобрать у них: то они священника отцом зовут, то Бога своего. Одно слово – сиротинушки.

А вокруг Козар веселье. Игрища и забавы всякие. Тешат поляне Перуна на его пиру, а русь наемная им помогает. Что у коренных жителей, что у варягов-находников повадки схожие. Первые Перуна славят, вторые Торрина. Имена разные, да должность одна – молоньями сверкать, да громами народ стращать. И варяги до свининки не меньше полян охочи²⁰.

А слободские с посадскими из подворий своих выбрались и друг дружку «на печенку» зовут. И отказаться нельзя. Лучше от объедения лопнуть, чем неуважение оказать.

И на Старокиевской горе обычай чтут. У свиарника суета, еще солнце не взошло, а мясники уже свою работу начали. Бойко у них выходило: свинку подтащат, за ноги кутырнут, а Своята-забойщик ножом ее в самое сердце, и в рану клепушек, чтоб кровь до поры не текла. Ввизгнет свинка и больше не копнется. Мастер. Я даже залюбовался.

– Забирай! – кричит Своята весело, а у самого руки по локоть в крови.

Тут уж моя забота. Петлю на копытце накинул, а другой конец веревки к седелке Буяна привязан.

Я меринка под уздцы:

– Но-о-о, милай!

А он на тушку косится испуганно, но ничего, не взбрыкивает. Привычный. И волочем тушку до ворот, а там ее кухари принимают. По три туши на сани, и вон вывозят. А мы с Буяном в обратный путь.

Шесть ходок сделали, и еще шесть впереди.

– Добрыня! – гляжу, Кот к нам спешит. – Бросай дела! Тебя в городе ждут! Мне Кветан велел тебя подменить, – подбежал, повод подхватил, – Княгиня со Святославом на капище собрались, – а сам отдышаться не может, уж больно торопится. – Там дружина зарок подтверждать свой будет.

– А я тут причем? – пожал я плечами.

– Ольга велела, чтоб ты коня каганова выводил. Дай-ка, взгляну на тебя, – оглядел он меня с головы до ног. – Все в порядке, – кивнул, – только рукавицы ключнику вели поменять. Эти в крови замарал.

– Эй! Конюхи! Али уснули? – это Своята недовольно кричит.

– Ладно, поспешай, – Кот дернул мерина за повод. – Ходи!

Я на гору поднялся, у ключника рукавицы заменил. Тот поначалу новые давать не хотел, но как узнал, зачем меня в Киев звали, сразу засуетился.

– На, бери мои, – расщедрился. – Да потом вернуть не забудь, и чтобы в целости были.

²⁰ ...не меньше полян охочи... – «Забавным представляется то, что не только на Руси, но и во всех странах Европы во время празднования зимнего солнцестояния в почете было употребление в пищу свиного мяса. Так в Скандинавии, Германии и Англии, обязательным к употреблению считались блюда из свинины. В последней королям преподносилась свиная голова, варенная в уксусе с лимоном во рту...» М. Забелин.

Я до поры их за кушак заткнул и к Кветану направился. А у того уж готово все. Облак сбруей праздничной красуется. Потник на нем ниткой золотой расшит – соколы в углах чеканные. Подпотник шелковый, яхонтами и лазуритами изукрашен. Войлок под седлом синий. На седле подушка красного бархата. По узде бляшки оловянные с подвесками из стрел перуновых²¹.

На подпруге, и той, вставки жемчугом сверкают. Не конь, а красавец писанный.

А мне вдруг грустно стало. Вспомнился мой коник верный. Эх, такой бы наряд да Гнедку моему. Только где он теперь? Лишили меня коня²², угнали Гнедка неведомо куда. Может, где-то на другом конце Руси под воином ходит, а может, и сдох уже.

– Давай, Добрын, – говорит Кветан, а сам мне повод в руку сует, – веди к терему. Вон уже стражник рукой машет. Значит, каган сейчас на крыльце появится.

– А ты-то чего?

– У меня ныне труд особый.

Я к крыльцу коня подвел. Стою, жду. Тут и Кветан подкатил на саних. Коник в сани впряжен буланый. Ольга его вместо кобылки, сбежавшей, себе выбрала. Молодой жеребчик, шустрый, Вихрем его прозвали. И сбруя на нем не хуже кагановой. А сани шкурой медвежьей укрыты.

Вот и Святослав на крыльцо выбежал.

– С праздником! – кричит.

– Здрав буде, – мы ему в ответ.

– И вам здоровья!

Спустился по лестнице, я ему руку под коленку подставил, и он уже в седле.

Тут гридни²³ Ольгу вынесли. Не оправилась она после недавней охоты, слабая еще. На ногу отмороженную встать не может. Сама бледная, исхудавшая, одни глазищи из-под шапки собольей сверкают.

– И все же, княгиня, я бы тебя еще пару деньков в светелке подержал, – это Соломон вокруг суетится. – Иначе все мои силы напраслиной обернутся.

– Брось, лекарь, – Ольга только рукой махнула. – Тебе волю дать, так ты меня на веки вечные в тереме запрешь.

Спустили отроки ее с крыльца, в сани усадили, шкурой укутали. Взглянула она на меня, головой кивнула:

– Как живешь-можешь?

– Как могу, так и живу, – пожал я плечами.

А мне Святослав с коня:

– Расскажи, Добрын, как ты мамку из пролуби вытягивал.

– Некогда нам сейчас. Поспешать на капище надобно, – Ольга на него строго.

От меня отвернулась и в саних удобней устроилась.

Соломон рядышком примостился и суму свою лекарскую пристроил.

– Ну, что? Трогаем? – спросил.

– Давай потихонечку, – кивнула Ольга.

– Эге-гей! Вперед! – крикнул Святослав.

И мы тронулись.

²¹ ...бляшки оловянные с подвесками из стрел перуновых... – олово считалось металлом Перуна: «...где молния в землю ударит, там и олово...», стрелы Перуновы – белемнит (чертов палец).

²² ...лишили меня коня... – конем мог владеть только вольный человек.

²³ Гридни – телохранители.

Я на Киевском капище еще ни разу не был. Да и что мне там делать было? Перуну кошуны петь? Дескать, спасибо тебе Громовержец за то, что землю Дажьбогову захватил и разорил. Не дождется он от меня славления.

Однако посмотреть, как поляне требы свои к нему возносят, любопытно было. Вот и случай выдался.

На крутом берегу Днепра, на высоком холме стояло капище Перуново. Частоколом обнесено, воротами резными украшено, огненным кругом от злыдней²⁴ огорожено. А за воротами просторная поляна-требище, не меньше стогня Коростеньского, вся народом заполнена. По правую руку дружинники, по левую – выборные от слобод и посадники. Люд разряженный, на воях броня блестит на зимнем солнышке.

У стены кумир Перуна из огромного ствола сотворен. Работа тонкая, старательная. Шишак на его голове вызолочен, усы до земли вьются, брови в гневе к переносице сведены, в одной руке меч вырезан, в другой молния зажата, а перед кумиром на земле большой молот лежит, чтобы в Перуне варяги своего Бога Торрина видели. Суров Покровитель земли Полян-ской. Суровостью своей сумел власть над землями окрестными взять. И поляне, и словены, и кривичи, и дреговичи с северянами, и радимичи, а теперь еще и древляне с ятвигами, все под пятой Перуновой лежат.

Перед кумиром крада камнями выложена. На краде туши свиные рядком – двенадцать штук, по числу месяцев в годовом Коло. Это Своята-мясник постарался. Вокруг ведуны Перуновы суматошатся, соломой свинок обкладывают, а верховный ведун Звенемир их поторапливает. На ведунах плащи зарницами серебряными расшиты, на Звенемире корзно алое, молнии золотом отсвечивают. В руках у него посох резной, на голове обруч железный, на шее гривна витая. Люди вокруг от морозца ежатся, а от него пар валит. Распалился, видать, миротворец²⁵, жаром пыхает.

Мы в ворота вошли. Я Облака под уздцы веду, на коне Святослав подбоченился, Кветан санями правит, в санях Ольга с Соломоном о чем-то тихонько спорят, а вокруг нас гридни с мечами наголо. Заметил нас Звенемир, руки кверху поднял:

– Слава владетелям земли Русской! – крикнул.

– Слава! – подхватил люд, а дружина в щиты заколотила.

Мирники шапки скинули, поклоны нам отвешивают.

Я усмехнулся тихонько. Получается, что я тоже владетель, раз славу кричат. И вдруг взгляд Ольгин поймал, и усмешку свою подале запрятал.

А меж тем Звенемир снова руки к небу вознес:

– Внемли, Перуне, призывающих тя! – громко кошун запел.

И младшие ведуны его подхватили:

– Славен и триславен буде! Громотворение яви!

А за ведунами и люд затынул:

– Прави ны от Кола и до Кола-а!

И гроыхнуло вдруг громом среди зимы, среди неба, от мороза звонкого.

– Слава! – радостно народ закричал.

И еще раз гроыхнуло, да так оглушительно, что Облак дернулся. Я его придержал, по храпу погладил.

Тут солома на краде вспыхнула. Будто, и правда, в нее молния ударила.

– Силен ведун у Перуна вашего, – невольно у меня вырвалось. – Эко громами раскатывает.

²⁴ Злыдень – злой дух. Вокруг капищ по кругу разводили костры. Считалось, что Зло не может перешагнуть через огонь.

²⁵ Имя Звенемир на современный язык переводится, как Миротворец.

– Да это не он. Это за частоколом помощники его в лист железный вдарили, – рассмеялся Святослав, но Ольга так на него зыркнула, что каган сразу язык прикусил, и не до смеха ему стало.

А пламя пуше прежнего занялось. Жаром требище накрыло. От крады дым в небушко повалил. Опалились туши свиные – вкусный дух по капищу пополз, аж защекотало ноздри.

– Сытсья, Перуне, дарами нашими! Слава тебе во веки веков! – ведун поклон земной кумиру отвесил, а вслед за ним все на требище до земли Перуну поклонились.

Все, да не все.

Святослав так на коне и остался, Ольга с Соломоном в санях сидели, я не захотел перед Дажьбожьим врагом спину гнуть, а слева от меня над согбенными людьми гордо высился Ицхак бен Захария, посадник козарский. Стоял он и от запаха паленой свинины морщился.

А Соломон ничего, даже бровью не повел. Он по делам своим лекарским и не такого нюхивал. Сидит, как ни в чем не бывало, с Ольгой о чем-то перешептывается.

Прогорела солома быстро. Погас пал, распрямились спины. Люди снова Громовержцу славу крикнули, и ведун в сторонку отошел – он свое дело сделал.

Мясники наперед вышли. Зацепили крюками тушу опаленную, из крады вытянули, ножами сажу счистили. Подскочил Своята, под челюстью у свиньи прорез сделал, через рот петлю ременную просунул, и в прорез ее выпростал. Вставил в петлю палку, ремень натянул.

– Готово! – крикнул.

Схватились мясники за ремень, через перекладину воротную перекинули, потянули дружно, и повисла туша тяжелая между землей и небом. А Своята на животе у свиньи дугой надрез сделал, брюшину с сосками розовыми отнял и в подставленную бадейку откинул.

– Обрати внимание, княгиня, – услышал я шепот Соломона, – нутро свиное очень на человечье похоже...

Своята меж тем работу свою продолжал, большую золотую чашу ему Звенемир подал, он ее к туше подставил, жилку какую-то поддел, брызнула кровь и по ножу побежала.

Радостными криками встретила толпа кровопролитие. Высоко над головой поднял чашу ведун, кровь в ней парится, а народ шумит. Подошел ведун к кумиру, окунул пальцы и губы Перуна помазал.

– Слава, Перуну!

– Слава!

Звенемир народу поклонился и к нам направился. Подал чашу Святославу.

– Прими, каган и Великий князь! Прими чашу сию с рудой²⁶ от стола Перунова!

Принял чашу мальчишка, пригубил ее, глоток сделал.

– Соленая, – улыбнулся.

Взглянул я, а у него, как и у кумира полянского, губы в крови. Капля густая по подбородку Святослава сбежала и на подол дорогой одежды упала. Утерся рукавом каган.

– Слава Перуну! – звонко крикнул.

– Слава! – эхом отозвалось на требище.

Вернул Святослав чашу кровавую ведуну. Окинул взглядом капище и рукой махнул.

Тотчас из рядов дружинников Свенельд вышел, подошел к нам, стремя Святославу облобызал, крикнул громко:

– В верности я кагану поклялся и клятву свою подтверждаю! – а мальчишка палец в чашу обмакнул и начертал на лбу у дяди своего знак огня²⁷.

Ольга шкуру медвежью в ногах откинула, а под ней ларец железными полосами окованный. Подняла она крышку, и ахнул Соломон. Ларец полон денег.

²⁶ Руда – в данном случае кровь.

²⁷ Знак огня – крест.

– Получи, воевода, плату за службу верную, – и три деньги золотых Свенельду в ладонь отсчитала.

Спрятал воевода деньги в калиту, к дружине вернулся, а от ратников уже следующий бежит – доспехом побрякивает. Губами в стремя ткнулся, клятву давешнюю подтвердил, крестом кровавым на лбу отметился, две деньги золотом ему Ольга сунула. Третьим мой знакомец Претич оказался. Тот в сотниках не обжился еще, как следует, оттого двум деньгам несказанно обрадовался. В пояс Ольге поклонился:

– Не забуду вовек ласки твоей, благодетельница, – шепнул и, радостный, к своим отправился.

Пять сотников – десять золотых. Кровь меж тем в чаше совсем загустела, так Своята уже вторую тушу обделал. И вновь руда горячая запенилась.

Потом десятники пошли, им по одной деньге досталось. Лишь Алдану-десятнику за заслуги, мне неведомые, два золотых обломилось. А с простыми ратниками серебром рассчитались. По деньге на нос.

До самого вечера расчет велся. Замерз я, на одном месте стоя. Вот когда рукавицы ключниковы пригодились. А то руки мои, морозом побитые, не смогли бы коня так долго сдерживать. Стоял я, с ноги на ногу переминался, а сам дивился: у нас, бывало, от князя Благодар получить за награду великую считалось. Я серьгой подаренной, словно ценностью великой, дорожил. Когда пришлось ее на рану Торбьерна пожертвовать, виду не подал, но обгорился весь. Страшно рад был, когда конунг мне новой серьгой отдался. До сих пор ее в ухе ношу и горжусь даром. А здесь все на деньгу меряется, и верность, и преданность. Но как тут судить – у каждого рода свои обычаи.

Когда на воротах одиннадцатая туша повисла, посадников черед наступил. Этим также по золотому Ольга выдала, а Святослав кресты на лбы возложил. Только Ицхак не окровавленным остался, лишь поклонился учтиво. Веру чужую в Киеве почитали, так еще от Олега повелось.

Для выборных от слобод серебро сгодилось. А Соломону Ольга целую пригоршню, не считая, сунула.

– Это тебе за то, что ты нас от болей и невзгод оберегаешь.

Что в ларце осталось, пошло Перуну в дар. Принял Звенемир ларец, к кумиру его отнес и поставил у подножия рядом с молотом Торрина.

– А теперь настала пора вкусить даров от пира Божеского! – провозгласил ведун.

Пока расплатой народ вольный занят был, холопы не дремали. Туши обескровленные на вертелах жарили, столы в капище занесли, лавки длинные расставили. Пива пенного в бочках прикатали и вено пьяное в бочонках принесли. Стольники за свою работу бойко принялись. На столы накрывали, кубки с чашами расставляли, овчины по лавкам расстилали, чтоб не на холодном сидеть.

Запах еды с ума сводил. Еще бы, цельный день на морозе ни евши, ни пивши. У меня в утробе урчало от голода, под ложечкой сосало. От запахов голова кружилась. Держался я. И все сдерживались. Хуже всех, наверное, Ольге было. Слаба она все-таки, нет-нет, а на руку Соломону опиралась. Да и Святославу нелегко. Мальчонка порой слюнки сглатывал, но крепился, как кагану положено. Стойко себя вел.

Как только ведун пир провозгласил, все к столам направились, а Ольга к Кветану обратилась:

– Давай, конюх, к граду разворачивай, мы здесь свое дело исполнили.

– А поесть? – взглянул на мать Святослав жалостливо.

– В тереме уже столы нас ждут, – ответила Ольга и на шкуре без сил откинулась.

Вздохнули гридни, что весь день возле нас истуканами простояли, и за нами пошли, службу свою доделывать.

Развернулись мы, к воротам подъехали, тут нас Своята остановил.

– Дозволь, княгиня, кагану от меня подарочек? – с поклоном он к саням подошел.

Ольга только рукой махнула.

Вынул забойщик из-под полы сверточек и Святославу протянул. Развернул каган тряпицу, а в ней уши свиные запаленные. Обрадовался мальчонка.

– Здоровья тебе, – кивнул он Свояте и захрумкал хрящиками.

– И тебе здоровья, – улыбнулся забойщик.

Когда возле терема гридни кагана с коня сняли, тот дремал уже. Истомился за день мальчишка, ноги у него от сидения долгого затекли. Понесли его в терем, а он мне на прощанье:

– С праздником тебя, Добрын, – а сам зевает. – Завтра на игрищах свидимся?

– А то как же, – я ему. – Куда же я денусь?

Ольга меня к себе рукой поманила.

– От болезни-то оправился? – тихонько спросила.

– Спасибо Соломону, – ответил я.

– Ну, до завтра, – вдруг улыбнулась она мне.

– Свидимся.

Наконец-то мы добрались до конюшни.

– Чуть не лопнул, – сказал я, развязывая гашник. – И как это Ольга со Святославом ни разу по нужде не отлучились?

– Я сам ума не приложу, – пожал плечами конюх, пристроилась рядом, и мы с радостью оросили снег возле конюшни.

– Ух, полегчало, – довольно вздохнул старшой, завязывая тесьму на портах. – Пойдем коней ставить.

Пока мы с Кветаном коней распрягли, в денники отвели да напоили-накормили, пока упряжь сложили, уж ночь настала. Устал старшой, и я устал, едва-едва мы до наших подклетей конюшних добрались. Двери отворили, а тут светцы ярко горят, лучины потрескивают, светло в подклети, как днем. Печь жарко натоплена, а столы от снеди ломаются.

– Вы где бродите? – Кот нам навстречу. – Заждались мы. Без вас за столы не садились. Айда пировать! Праздник же!

И куда только усталость подевалась?

Сейчас порой удивляешься, как же раньше-то вот так, не смыкая глаз, мог за чашей хмельной, за весельем, за столом праздничным ночами и днями сидеть? Откуда силы брались? Почему не покидали? Или удаль молодецкая в нас играла, или кровь в жилах горячее была? Да нет. И удаль достаточно, и кровь холоднее не стала. Разве только с годами понимать начинаешь, что один пир на другой, как две капли воды, похож, новизна теряется, и уже день прошедший ничем не отличается от дня наступившего. А что взамен? Опыт в замен приходит. Опыт и мудрость.

25 декабря 947 г.

Зашипела вода на раскаленных камнях, вспенилась и паром изошла. Жарко в бане. Хмель ночной потом выходит из разгоряченных тел.

– Добрыня, а ну еще поддай! – разомлевший Кот спину под веник дубовый подставил.

Кветан его нахлестывает, а сам приговаривает:

– С гуся вода, а с Кота сухота!

– Так где же вода-то? – смеется конюх.

– А вот тебе водичка! – ору я и плещу на него холодненькой.

– О-о-ох, хорошо! – вопит Кот. – А парку-то! Парку!

– Вот тебе и парку! – и остатки из шайки на голыши – хлясть.

– Да вы чего, демоны! – закричал кто-то, а кто, из-за пара и не разглядеть. – Совсем угорим! Дышать не вмоготу!

– Коли жарко, – Кветан в ответ, – на пол ложись, а то и вовсе в предбанник отправляйся, а людям парило не перебивай. Ложись, Добрын, я и тебя поправлю, – это уже мне.

– Эй, со мной-то закончи, – Кот возмущается.

– Хватит с тебя, – смеется Кветан. – Ты уже не на кота, а на рака вареного больше похож.

Обмывайся скорее.

Я на полати залез.

– Давай, – говорю, – полегонечку.

Старшой по ногам в легкую прошелся, по спине листьями дубовыми прошуршал.

– Ну, как? – спрашивает.

– Ты меня не щекочи, – я ему. – Коли за веник взялся, так уж поусердствуй.

– Ну, держись!

Из парной мы, точно гуси ошпаренные, выскочили, да в сугроб с разбегу нырнули.

– Гляди, ребя! У меня под задницей снег тает! – смеется Кот.

– Ты себе муде не отморозь, – Кветан из сугроба выбрался, растерся, отряхнулся. – Айда обратно! Совет держать будем!

Из огня в полымя, да обратно в огонь – знатно кровь разогнали. Обмылись водою горячей, прогрелись, с парком легким поздравились. Из парной вышли, в предбаннике за стол сели, по ковшику бражки приняли, капусткой квашеной закусили и... просветлились. Хорошо!

– Значится так, – старшой кулаком по столешне треснул, – в прошлом годе нас посадские на измор взяли. Они лбы здоровые, один Глушила чего стоит.

– Это кто таков? – спросил я.

– Молотобоец он с Подола, – кто-то из конюхов сказал. – Туговат на одно ухо, оттого так и прозывается.

– Так-то оно так, – Кот еще ковшик себе зачерпнул, – только у него кулак, что твоя голова.

– Ты на бражку не налегай, – строго сказал Кветан, – а то к игрищам спечешься.

– Я себя знаю, – ответил Кот, но ковшик в сторонку отставил.

– А на какое ухо туговат?

– На левое.

– Может, я его на себя возьму?

– Эка расхорохорился, ты после лихоманки-то своей оправился? – Кот с сомнением на меня взглянул.

– Ты за меня не бойсь, – расхрабрился я, то ли после бани силу почуял, то ли бражка на вчерашний заквас хорошо легла?

– А чего мне бояться? – пожал плечами Кот. – Ты его еще не видел, а уже бахвалишься.

В этом он был прав. На прошлом Солнцевороте я на конюшне все праздники взаперти просидел. Опасался Свенельд, что сбежать могу, оттого из града не выпустил.

– Ладно, – кивнул Кветан, – с этим на месте разберемся, а пока слушайте, что я посадским в подарок придумал, – и мы к нему поближе придвинулись...

На крепком Днепровском льду разворачивалось игрище. Девки хороводы водили, Сварога песнями славили, Коляду в путь неблизкий провожали, на парней поглядывали, женихов себе высматривали. А парни друг перед другом, да перед теми же девками красовались, удалю свою оказывали. Столб тут поставили, водой его облили, чтоб скольжее был, а на верхушку сапожки сафьяновые подвесили. Вот на этот столб парни и лазали.

Не давался парням обледенелый столб, до середки добирались и вниз скатывались. А вокруг народ шумит, ловкачей подбадривает. Огнищане со слобод, мастеровые с посадов, дружинники из града, все с женами, да детишками малыми, с чадами и домочадцами. Народищу вокруг столба – не пропихнуться. А неподалеку козарские жители палатки развернули, сбитнем, медовухой, калачами и блинами приторговывают – и народу хорошо, и вора²⁸ прибыль.

Здесь же и княгиня со Святославом и воеводой. Для них особо из снега курган холопы соорудили, чтоб лучше им было видно, что на игрище происходит. Ольга на санках сидит, точно собралась с горки прокатиться, только Свенельд рядом стоит, да санки рукой придерживает. Переговариваются они меж собой, улыбаются. А кагану Святославу на месте не сидится. Он да мальцы киевские с кургана дорожку ледяную накатали, да на мазанках²⁹ по ней съезжают. Хохочут, радуются. Визг у кургана, возня детская.

Меж тем у столба ледяного нешуточные страсти кипят. Ругаются парни, кулаками сапожкам подвешенным грозят, каждый хочет зазнобе своей гостинец праздничный подарить. Вот только не дается в руки подарочек.

– А ну расступись! – перекричал кто-то всех.

Я поближе подошел, чтобы ухаля получше разглядеть. Вижу – Кот народ расталкивает. Шапку скинул да оземь припечатал, тулупчик на снег сбросил, по пояс оголился. Делово столб оглядел, на руки поплевал и вверх полез. Пыхтит, упирается, ногами столб обвил, руками охлопал, пыжится изо всех дристенков. Почти до самого верха забрался. Еще чуток и до сапожек дотянется. Уже кончиками пальцев подошвы касается... нет. Соскользнул вниз. На копчик опустился. Плюнул в сердцах.

– Чтоб тебя приподняло, да не опустило! – выругался.

А народ над ним потешается:

– Что, котик, коготки затупились?

Он на потешника с кулаками кинулся. Удержали его, да еще пуще на смех подняли.

– А ну-ка, дайте и мне себя попытать! – я и не заметил, как Свенельд с кургана спустился.

Расступились зеваки почтительно.

– Ну, спытай, Свенельд Асмудович.

Воевода неторопливо вокруг столба обошел, приноравливаясь. Потом разделся спокойно. Крепко столб обнял и взбираться начал. Ловко у него получилось, к столбу точно приклеился. Добрался до верха, сапожки с крюка снял, народу показал. Криками приветственными это люди внизу встретили. Славу воеводе крикнули, не хуже, чем вчера Перуну Громовержцу

²⁸ Старославянское слово «вор» изначально имело значение «торговец, лавочник, коробейник». Позже ворами стали называть не чистых на руку торговцев. Затем обманщиков вообще (например, «Тушинский Вор» Лжедмитрий). И только потом это слово приобрело современное значение.

²⁹ Мазанки (салазки, ледянки) – из ивовых веток плетется каркас, типа корзины, затем обмазывается коровьим навозом и поливается водой. Получается некое подобие санок. Используется для перевозки ручной клади и катания детей. Скользят лучше покушных санок и не застревают в снегу.

кричали. А Свенельд с сапожками вниз спустился, к Коту подошел, потрепал его по буйной голове.

– Не всегда одной ловкостью справиться можно, – говорит, – иногда и хитрость проявить надобно. Вот смотри, – за руку Кота взял и ладошку его к груди своей прижал.

– Прилипла! – удивился конюх, с трудом ладонь от груди отрывая.

Улыбнулся воевода и с сапожками вокруг столба гоголем пошел.

А Кот ладонь свою понюхал, лизнул ее, да как заорет:

– Это ж смола сосновая!

А девки меж тем всполошились. Каждая вперед других вылезти старается, чтоб Свенельду на глаза попасть. Воевода все бобылем ходит. Жених завидный: красив, строен, ловок и удален³⁰.

И каждая мечтает, чтоб ей Свенельд внимание оказал, сапожки подарил. Потешился я, за ними наблюдая: и этим бочком повернутся, и другим подставятся, и глазками стрельнут, и взглянут со значением. Однако все эти хитрости на воеводу, казалось, не производили особого действия. Проходил мимо, точно не замечая манящих девичьих глаз.

Наконец, остановился он. Красавица, что перед ним стояла, аж зарделась вся. Только рано она радовалась. Посторонил ее Свенельд осторожно и выхватил из толпы кого-то. В круг поманил.

Ахнул народ, когда на простор воевода Дарену Одноручку вывел. А Свенельд ей в пояс поклонился.

– Дозволь, девица, гостинец тебе подарить?

А та оглядела его с головы до ног и с ног до головы, плечами пожала:

– Это что? – спрашивает.

– Вот, сапожки для тебя сафьяновые. Носи да ножки грей.

– Что-то боязно, – головой она покачала.

– Чего же так?

– Да вот, – показала она культу, – ручку уже варяги мне погрели.

Снова ахнул народ, да на этот раз уже в страхе. Заметил я, как у Свенельда желваки на скулах заходили.

– Дозволь, воеводушка, спросить, – подскочил к ним Кот. – А с чем ты смолу мешал?

– Сам догадайся, – отрезал воевода, да так взглянул на конюха, что тот поперхнулся. – А может, не стоит былое ворошить? – вновь он к Дарене повернулся.

– Я бы рада, – ответила та. – Вот лишь только батюшка мне во снах является. Просит, чтобы гвоздь железный я ему из темечка вынула. А я не могу. Уцепиться за гвоздь нечем.

– Тогда, может, примешь гостинец, как виру за содеянное?

– Приму, – кивнула она. – После того, как вои твои за то, что со мной потешились, тоже сполна расплатятся.

– Как знаешь, – сказал Свенельд, швырнул сапожки Дарене под ноги и, как был голым по пояс, так и прочь пошел.

Расступились перед ним люди в молчании, а он из толпы выбрался и, не оборачиваясь, прямо к граду направился.

– Шальная девка. Как есть шутоломная, – прошептал кто-то рядом со мной.

А я на курган взглянул, как там Ольга на все, что случилось, смотрит? Но, хвала Дажьбогу, занята она была. Святослав с каким-то мальчишкой подрался. Вот княгиня их обоих отчитывала да мирила, и до того, что возле ледяного столба творилось, ей пока дела не было.

– Эй, люди добрые! Что тут случилось у вас? Али помер кто? – громкий голос послышался.

³⁰ Удатен – удачлив.

И словно из спячки все вырвались. Зашептались. Зашушукались. На голос обернулись. К гульбищу новый народ подваливает. Заводной и веселый. Налегке идут. Дружно. Ватагой спаянной. А посреди громила высится: плечи у него широченные, шея бычья, и на этой шее голова, как калган, крепко сидит. Идет и камушком в руках поигрывает, а в камушке не менее пуда. Он-то про покойника и спрашивал.

– Типун тебе на язык, Глушила, все живы да здоровы, слава Перуну! – ему в ответ крикнули.

– Ну, тогда собирайся, народ! Мы, посадские, городских на кулачки вызываем.

А ко мне Кот подошел, да в бок пихнул:

– Видишь, супротив кого ты стоять вызвался? – а сам на громилу кивает.

– Да, чай, не слепой, – огрызнулся я.

– Али ты, не хуже Дарены, с умом не в ладах?

– А ты словно не знаешь, что большие дубы громко падают? – усмехнулся я ему, а у самого внутри екнуло.

– Это ты хорошо сказал, – улыбнулся он в ответ. – Если что, я тебе спину прикрою.

– И на том спасибо.

Встали мы у подножия кургана лицом к лицу. Городских пятьдесят человек вышло, столько же и посадских отсчитали. Желаящих, конечно, больше было, но все бы на расчищенном от снега поле просто не поместились. Так что остальным пришлось только советами помогать, да поддержку криками оказывать.

Стоим мы стенка на стенку, и каждый напротив каждого. Глазами друг дружку буравим. А у супротивника моего, Глушила, глазки маленькие – не разобрать, что там у него на уме. Он, словно буйный тур, ноздри раздувает, ногой в нетерпении притопывает. Кулачиной своей великой о ладошку постукивает. Прав был Кот – кулак у него не меньше моей головы будет.

На курган ведун Звенемир поднялся, встал рядом с Ольгиными санками. Руки привычно к небу поднял, дождался, когда народ утихомирится, и сказал:

– Закон поединка гласит: не калечить, не кусать, не царапать, лежачего не бить, друга в беде не бросать. И пускай на поле этом собрались бойцы из разных родов, и хоть каждый за своего Бога биться будет, только помнить должно, что над всеми Богами есть единый Бог – Сварог Создатель. Во славу Его бой!

– А ты знаешь, что Сварог кузнец? – вдруг спросил меня Глушила. – Значит, он ноне на моей стороне будет.

А я в ответ ему кивнул, да губами пошамал, точно говорю что-то, а звука нет.

– Что ты сказал? – растерялся он, здоровым ухом ко мне повернулся, глазом косит.

А я опять губами пошевелил, словно отвечаю.

Он от неожиданности даже головой потряс.

– Ты что, немец, что ли? – уставился он на меня.

– Я то не немец, – сказал я, – да ты глухой, как пень, – и снова губами.

Он свои маленькие глазки на меня вытаращил, точно от этого у него слух лучше станет, кулак разжал, сунул мизинец в правое ухо и шкрябать в нем начал, прочистить пытаюсь. От этого не услышал, как Звенемир крикнул:

– Бей!

Знамо дело – замешкался он, а мне того и надобно. Я его с правой по глазу, потом с левой по другому. Только тут он опомнился, да на меня кинулся. А я в сторонку шаг сделал, да запрыгнул ему на спину. Приобнял за шею турью, да придушил его немного. Только с ним так просто не справиться. Набычил он шею, хоть дави его, хоть вешай – он и петлю веревочную, наверное, порвать бы смог. А я тогда к затылку ему подтянулся, к правому уху его подобрался, да как со всей дури свистну. Он, бедняга, словно конь норовистый, подпрыгнул. А к тому

времени глаза его, мной подбитые, отекают начали. Так что через несколько мгновений боя он и совсем глухим и совсем слепым оказался.

Крутится на месте, руками размахивает, ревет вопреку раненым, достать меня пытается, а не может. От внезапной напасти совершенно ошалел. Ему бы на спину упасть, да попытаться меня к земле придавить, а он столбом торчит и падать не хочет. Я сам-то на нем вишу, а ногами под коленки ему сую.

– Падай, дурак! – ору на него, а что толку?

Не слышит он меня, оттого и мучается. Но, наконец, до него дошло. Или просто он из сил выбился, хотя это навряд ли. Силы в нем, что в молодом бугае, а то и поболее. Завалился он неуклюже набок – я от него и отстал, к Коту на вырчку кинулся.

А он с каким-то посадским возится. Тот тоже немало человек, но с Глушилой не сравнится. Заметил меня Кот – от удивления удар прямо в лоб пропустил. Сильный удар, но на ногах конюх остался. Головой встряхнул, чтоб в себя скорее прийти, а тут и я подоспел. Против нас двоих противник не сдюжил, почти сразу лег. И мы вдвоем к Кветану поспешили.

И все у нас получилось, как в бане с утра замыслили. Прошло совсем немного времени, а конюхи уже ватагой на посадских накидывались. Остальные городские быстро поняли, что мы затеяли, и к нам присоединялись. Очень скоро смели мы противников. Среди наших всего четверо на льду лежало, а противник наш весь поголовно полег. Такого разгрома посадки от града никогда не терпели.

– Мир! – Звенемир громко крикнул, и значило это, что окончился бой.

И тогда я заметил, что молчат зрители. Одни от горя нежданного, другие от радости внезапной. Никто же не рассчитывал, что так все обернется. Быстро и неоспоримо.

И тут я Ольгу увидел. И понял вдруг, что все это время она только за мной наблюдала. Только за мной.

– Слава победителям! – радостный крик Святослава стал сигналом ко всеобщему ликование.

А противники наши бывшие уже подниматься начали. Я к Глушиле поспешил.

– Живой?! – кричу ему и руку протягиваю.

– Да не ори ты так, – он мне отвечает. – Не настолько я глух.

Полежал, посмотрел немного на руку мою, словно на диковину какую, а потом схватился за нее и меня наземь повалил.

– Вот хитрюга! – кричит. – Лихо ты меня! Молодец! – а у самого глаза заплыли, будто пчелы его покусали. – Как зовут-то тебя?

– Добрыном, – отвечаю.

– А-а-а, понятно, – заулыбался он. – Теперь ясно, почему ты меня так легко побил. Наслышан про смекалку твою, княжич.

– Да не княжич я...

– Мне тебе велели слово передать, так и просили – увидишь Добрына-княжича, кланяйся и скажи...

– Вы чего тут разлеглись? – Кветан к нам подошел.

– Да вот, отдохнуть решили, – улыбнулся я, а сам подумал:

– Эх, не вовремя ты, старшой.

– После отдыхать будете, ноне и повод есть. Ведь так, Глушила?

– Так, – сказал молотобоец. – И мы, как проигравшие, проставляемся.

– Вот это дело, – довольно потер руки старшой конюх. – А пока, Добрын, тебя на кургане ждут. Поспеш.

– Ольга позвала?

– Святослав.

Я на ноги поднялся, снежок с себя отряхнул и к кагану направился.

– Эй, Добрын, – мне вдогон Глушила крикнул, – Путята велел сказать, что завтра он в Киеве будет. На ристание³¹ обещался приехать.

Мне жарко стало от этих слов, словно огнем имя болярина обожгло.

– Откуда ты про Путяту знаешь? – обернулся я.

– У меня тесть – Твердило Древлянин. Помнишь такого? – подбитыми глазами на меня великан сощурился.

– Как не помнить? – всплыл передо мной образ мужичка-огнищанина, который на стогне Коростеньском громче всех кричал, когда решали, что с волчарой Ингварем делать.

Недавно совсем это было, а кажется, что с той поры половина жизни прошла.

– Он перед Солнцеворотом приезжал дочь проведать.

– Спасибо тебе, Глушила, за весть добрую, – поклонился я молотобойцу и к кургану пошел.

– О чем это вы? – Кветан у посадского допытывать стал.

– То у Добрына спрашивай, – услышал я за своей спиной.

Шел я через побоище, а у самого в душе птицы весенние пели, оттого, что скоро с Путятой повидаюсь. Но нечего сейчас об этом думать. До завтрашнего дня еще дожить надо. А пока нужно к Святославу спешить.

Поднялся я на курган, Ольге с каганом поклонился.

– Звал, Святослав? – у малого спросил.

– Ух, как ты, Добрын, здоровьяка того завалил! – восхищенно посмотрел на меня мальчишка. – Глушила всех подряд клал, а тебя побороть не смог, выходит, ты самый сильный в земле Русской?

– Это навряд ли, – пожал я плечами. – Просто повезло мне.

– Что-то дюже часто тебе везет, – Ольга взглянула на меня со своего сидения.

– Так, видно, Дажьбогу угодно, – склонил я перед ней голову.

– Любит тебя твой Бог, – поправила она меховой полог на санках.

– С чего это вдруг? Я же ему не девка красная, – усмехнулся я.

– Зато парень завидный, – улыбнулась она.

– Добрын, – Святослав меня за рукав дернул, – а Свенельда положить сумеешь?

– Свенельда не смогу, – честно признался я. – Наставник твой и телом и духом крепок. Он на двух ногах на земле стоит, а я пока только на одной. Другую ногу не знаю куда поставить, – и на Ольгу взглянул. – А чего это ты о воеводе вспомнил? – повернулся я к мальчишке.

– Свенельд на ристании в конной потехе и в бое на мечях себя показать решил, – гордо каган сказал. – Вот я и думаю: сдюжишь ты супротив него, или нет?

– Тут и думать нечего, – Ольга кагана одернула.

– Права твоя матушка, – вздохнул я. – В ристанье только вольному человеку позволительно свою удаль перед народом и Богами выставлять. А мне, конюху, ни мечом, ни конем владеть не дозволительно...

– Так Правь говорит, – Звенемир-ведун к нам подошел. – Вижу, что тебе, каган, не терпится Добрына со Свенельдом в поединке свести, только в ведах сказано, что не может воевода с конюхом простым силой тягаться.

– А я чего? – смутился мальчишка. – Я ничего.

– Вот то-то же, – ведун ему строго пальчиком погрозил. – Ступай посмотри, как собак стравливать станут. Вон, дружки твои тебя кличут.

³¹ Ристание – ритуальное состязание, которое проводилось на колячках. На ристание съезжались вольные воины (хоробры, витязи), которые выступали от лица племенных (родовых) Богов Покровителей. Таким образом, состязание приобретало сакральный смысл, символизирующий состязания между Богами.

И верно. На поле нашего недавнего боя уже затевалась новая потеха – охотный люд кобелей своих на травлю выставлял. Лай, крики, люди об заклад бьются, псы из рук хозяев своих вырываются, готовы друг друга в клочья рвать. Охоч Перун до кровавых игрищ, на пиру своем в Сварге радуется.

– Эй, меня подождите! – крикнул Святослав и с кургана побежал.

– Могу ли я тоже уйти? – спросил я у Ольги.

– погоди, – остановил меня ведун, – у княгини для тебя пара слов имеется.

– Слушаю, – склонил я голову.

Тем временем на льду началась грызня. Два волкодава сцепились в жестокой схватке. Даже здесь, на высоком снежном кургане, было слышно их злобное рычание.

– Послезавтра в Киеве соберутся хоробры со всех русских земель, – сказала Ольга тихо. – И ты знаешь, чем это обернуться может.

– Откуда же мне знать? – я с трудом сдержал улыбку.

– Ты не прикидывайся, – Звенемир от негодования посохом своим в курган ударил, – несмышленища из себя не строй. На прошлый Солнцеворот, пока ты взаперти сидел, они брагой после ристания опились, да драку с дружинниками затеяли, побили многих, покалечили, и все хотели тебя из поруба высвободить. Кричали, что старый род князей древлянских не только на Руси, но и в землях чужих почитают...

– Я-то тут причем? Мы с отцом договор подписали и рушить его не собираемся.

– Это хорошо, что слово свое крепко держите, только многие ли об этом знают? – ведун поежился, точно морозец пробрал его через мохнатое волчье корзно. – Оттого и опасение есть, что вои пришлые захотят снова дебош поднять. Праздник пресветлый бойней кровавой обернуться может, а разве тебе это надобно? – и уставился на меня вопросительно.

Я немного подумал, а потом головой покачал:

– Нет, не надо мне крови. И так ее достаточно пролилось, – и Звенемир вздохнул облегченно, а я через мгновение спросил:

– И чего же вы от меня хотите?

– Верно говорят, что Боги разумом тебя не обделили, – подала голос Ольга. – И хотим мы немногого: чтобы ты витязей от поступков необдуманных отговорил.

– Разве же я, холоп бесправный, могу вольным воинам указывать?

– Ты не хуже нашего знаешь, что это во власти твоей, – разозлилась она, только ведун ей руку на плечо положил, мол не горячись.

– И какой мне прок от разговоров этих? – меж тем продолжил я свою игру.

– Хочешь, серебра тебе дадим, а может, тебе больше золото по нраву? – повела княгиня плечом, руку ведуна отстранила.

– Эка у вас просто все, – пожал я плечами. – Считаете, что подачкой все беды отогнать можно?

– А чего же ты хочешь? – насторожилась она, а Звенемир заговорил торопливо:

– От холопства тебя избавить не в наших силах...

– Про то я и сам знаю, – остановил я ведуна, – но и за золото слово свое продавать не стану.

– Так не томи. Какую плату за спокойствие наше возьмешь?

– Хочу я в ристании участие принять.

– Не по Прави это... – возмутился ведун.

– Я веды не хуже твоего знаю, – перебил я Звенемира. – Не велел Велес холопам в руку меча и коня давать, но про лук со стрелами он ничего не говорил. Ведь так?

– Так, – согласился ведун, да и что он возразить мог?

– А коли так, то вот мои условия: в стрельбище вы мне потягаться позволите, и если я из потехи стрельной победителем выйду, то сестра моя, Малуша, будет при мне, и разлучать вы нас боле не посмеете. Ну, а если проиграю, тогда хоть душу порадую. Как на такое смотришь?

– И за какого же Бога ты стрелять собираешься?

– За Семаргла³².

– Так это и не бог даже, – пожал плечами Звенемир. – Пес у Сварога на посылках.

– Так, может, вы хотите, чтоб я за Дажьбога вышел? – настала очередь теперь мне усмехнуться.

– Ох, и хитер ты, Добрын, – поразмыслив, сказала Ольга, – не всякому такое в голову прийти могло. И холопом, вроде, останешься, а в то же время с вольными на одном поприще окажешься. И за Бога выйдешь, так Семаргл не совсем Бог. Хитер. Что посоветуешь, Звенемир?

– Тебе решать, княгиня, – ведун к небушку глаза поднял, – и я против твоего решения возражать не буду.

– Ладно, – сказала она, – потешь нас на ристании.

– Быть по сему, – поспешно подтвердил Звенемир и посохом своим пристукнул, обрадовался, что золото с серебром в целости останутся.

– Спасибо, княгиня, – поклонился я ей.

– Я вижу – важным для тебя мое решение стало.

– С чего ты взяла?

– За все время ты меня первый раз княгиней назвал, – усмехнулась она.

И тут от реки до нас донесся жалобный собачий визг. Видать, один волкодав другого придавил.

³² Семаргл (Переплут) – пес Сварога. Собака с рыбьим хвостом, крыльями и раздвоенным, как у змеи языком, чтоб правду от кривды легче было отличать. Семаргл выискивал души умерших в небе, на земле, в воде и вершил скорый суд, кого в Сваргу отправлять, а кого в Пекло. Причем в своих поисках был весьма хитер и изворотлив. Отсюда его второе имя – Переплут. Изображение Семаргла встречается и в более поздний период. Барельефы с псом-птицей украшали ворота христианских храмов. По всей вероятности, здесь Семаргл выполнял свои прежние функции, пропускал в ворота храма верующих и задерживал грешников. Место жительства Семаргла – корни растений. Он оберегает их, тем самым, оберегая устои общества.

27 декабря 947 г.

Левая рука напряжена до предела, ломит ее от локтя до кисти. Кисть затекла и кажется, что пальцы вот-вот откажутся сжимать тяжелое древко лука. С правой рукой не лучше – отведенный за ухо локоть мелко подрагивает. Большой палец прижимает оперенный конец стрелы к сгибу указательного. Прижимает изо всех сил, но сил этих все меньше и меньше. Еще чуток, и сорвется стрела, и улетит в белый свет на посмешище столпившимся вокруг людям.

А я стою, ловлю ветер, перевожу взгляд с наконечника на далекую мишень, молю Дажьбога о помощи, и знаю – этот выстрел решающий. И пусть усталость сбивает дыхание, и пускай сводит от напряжения спину, а пот заливает глаза, только мне необходимо сделать этот выстрел. И стрела обязательно должна найти цель. Потому я упрямо пытаюсь удержать наконечник нетерпеливой стрелы на черном пятне мишени. Стараюсь прогнать из головы посторонние мысли, как учил старый лучник Побор. Силюсь поймать тот неуловимый момент, когда нужно разжать пальцы и отправить стрелу в ее недолгий полет.

А коварная память словно затеяла со мной жестокую игру, и воспоминания не уходят прочь, сколько я их ни гоню. Они предательски уносят меня в день вчерашний, будто им совершенно все равно – удачным будет мой последний выстрел или нет...

... На Подоле пир всю ночь гудом гудел. На просторном подворье посадника Чурилы под тесовыми навесами были накрыты широкие столы. Проставлялись кулачки побитые, как исстари заведено. И еды, и питья вдосталь, гудошники и гусяры надрываются, скоморохи колесами по двору катаются, девки песни поют. Весело, шумно, сытно.

Только мне не до большого веселья. Это посадским с городскими можно уедаться и упиваться до одури. Послезавтра они будут витязей подбадривать, в ристании за них переживать, а мне силы побереечь надобно, чтоб на поприще в снег лицом не ударить.

Я бы и вовсе на этот пир не пошел, а завалился бы спать, либо в подклети, либо на чердак в сено залез, только нельзя. Глушила меня от себя ни на шаг не отпускает, братом зовет, а разве брата обидеть можно? Вот и терплю. А он мне лучшие куски мяса подкладывает, каши да разносолы подсовывает. Хвалится всем:

– Это Добрын-княжич, он меня принародно побил, – а у самого под глазами синяки.

Так молотобоец эти синяки, словно награду носит, перед народом ими хвастает:

– Видели, как он меня кулаками попотчевал? Век теперь помнить буду, – и смеется, показывая крепкие зубы.

– Будет тебе, Глушила, – я ему, – а то мне совестно.

– А чего стыдиться? – удивляется он. – Меня уже который год никто одолеть не может. Уже скучно стало на кулачках биться, а тут такая радость, – и смеется пуще прежнего.

Что ж поделать, коли радость нежданную человеку принес, на днепровский лед его положив.

А бабы с девками меж столов шустрят, только успевают яства менять, да корчаги с хмельным подносить. Раскраснелись от суеты, раздумянулись.

– А вот и суженая моя, – кричит Глушила, сам с глушью, оттого и громкий. – Эй, Велизара, ты чего ж другим подносишь, а про нас словно запамятовала?

– Я тебе и так частенько подношу, – Велизара в ответ, – дай хоть сейчас за чужими мужиками поухаживать.

– Это за кем это ты ухаживать собралась? – взбеленился великан. – Ну-ка покажи! Я его сейчас быстро от чужой жены отважу!

– Усядья, дурной, – смеется баба, – разве же кто может с тобой потягаться?

– А вот же, – сразу подобрел Глушила и на меня показывает, – он меня вчерась знатно...

– Так я разве же о кулачках говорю? – Велизара поставила перед нами корчагу с брагой, – Я же о любви! – а потом ко мне:

– Здраве буде, княжич.

– И тебе здоровья, мужнина жена.

– А чегой-то ты брагой брезгуешь? Вон суженый мой уже веселый, а у тебя ни в одном глазу.

– Так веселиться и без хмельного можно, – ответил я.

– А ты, случаем, не недужишь?

– Да ты чего, мать? – Глушила на нее. – Что ж, по-твоему, меня недужный отколошматил?

– Здоров я, Велизара, только мне для ристания нужно в твердом уме оставаться.

– Как? – удивленно всплеснула она руками. – Тебя из полона отпускают? Слава Дажь-богу!

– Нет, – покачал я головой. – Мне лишь дозволили из лука пострелять.

– Знатно, – обрадовалась баба. – Слышь, муженек, – пихнула она в бок Глушину, – непременно на Добрыня об заклад побейся, поставь на кошт гривну, что тебе в позапрошлом годе купец фряжский за медведя подарил.

– За какого медведя? – спросил я.

– Да, – отмахнулся молотобоец, – было дело.

– Ты пузо-то заголи, пусть Добрыня на дурь твою полюбуется.

– Да ладно тебе, – мне показалось, что Глушила смутился.

– Чего? Стыдно стало? – подначила Велизара.

– Чего тут стыдиться? – и великан задрал подол рубахи. – На, любуйся.

Я увидел, что через живот и грудь Глушилы протянулись толстые багровые шрамы.

– Медведя на комоедцы³³ охотники привели, – затараторила Велизара. – А гость фряжский стал похваляться, что у них есть такие молодцы, что и медведя побороть могут. Ну, а мой-то, – с нежностью взглянула она на мужа, – не долго думая, медведя того голыми руками задавил. За то и гривну золотую фрязь ему подарил. Только на что нам золото? Его же в рот не положишь.

– Это точно, – кивнул Глушила и прикусил моченое яблочко.

Я опасливо покосился на ручищу молотобойца, в которой яблоко казалось не больше ореха. Великан перехватил мой взгляд и хитро подмигнул мне подбитым глазом.

– И имей в виду, – сказал он, – что я тебе поддаваться не собирался, потому и радуюсь, что свой меня побил. А варяги – тьфу! – и сплюнул на землю косточки. – Мелочь пузатая.

– Мелочь, не мелочь, – строго взглянула на него жена, – а когда Лучана-гончара схватили, в схороне от них прятался.

– Так это ты же у меня на руках повисла! – треснул кулачищем по столу Глушила, аж миски с корчагами подпрыгнули, а сидящие за столом притихли.

– Повисла, – Велизара словно не заметила злости мужа. – Зато ты сейчас за столом сидишь, яблоки жрешь и бражку пьешь, а по гончару уже давно кобели отбрехали.

– Эх! – вскочил великан со своего места, чуть лавку не перевернул, зыркнул на жену зло. – Век ни себе, ни тебе этого не прощу! – и вышел из-за стола.

Но тут к нему подскочил Кот.

– Чего разошелся, Глушила? Али угощение не по вкусу пришлось? – и засмеялся звонко. – Мы же с тобой оба ноне побитые, у тебя синяки, а у меня в одночасье рог на лбу вырос, – и пальцем на большую шишку – след недавнего побоища – показал. – Нам ли горевать калечным?

³³ Комоедцы – праздник весеннего равноденствия. Велесов день. 21 марта. Медведь считался животной ипостасью Велеса. По поверьям, в этот день медведи выбираются из берлог. В последствии этот праздник заменила христианская Пасха.

– А чего она? – кивнул великан на жену.
– Да что с них, с баб, взять? Давай-ка лучше спляшем, чтоб не зазря гудошники мучались, – и пошел перед Глушилой вприсядку, и приговаривать начал:

– Я пойду, потопаю, повиляю жопою, пусть посмотрят мать-отец, какая жопа молодец!

И так у него радостно получилось, что великан не стерпел – притопывать начал и подпел конюху:

– Ох, теща моя, теща тюривая, по морозу босиком затютюривая.

И пошли плясать давешние супротивники – городской с посадским.

– Ты не смотри на него, княжич, – шепнула мне Велизара, – это ему хмель в голову ударил, а так он у меня смирный.

А между тем гульбище разгорелось с новой силой. Заразившись той удалью, с которой Кот и Глушила выделявали заковыристые коленца посреди Чурилиного двора, мужики решили потягаться в переплясе. Мальчишка-подгудошник на своем бубне взял залихватский лад, его напарник подхватил на жалейке, а гудошники еще сильнее раздули свои лягушачьи щеки. Даже старик-гусляр, придремавший было недалеко от костерка, очнулся, на мгновение прислушался, а потом ударил по звонким струнам³⁴.

Кот стал заводилой. Он козырем прошелся вдоль столов, встал посреди двора, оправил кушак, закинул за ухо оселок и трижды притопнул по доскам дворового настила.

– Эй, посадские! Выходи бороться! – выкрикнул он и, приноравливаясь к ладу бубна, принялся прихлопывать ладошками по груди, коленям и голенищам сапог.

Потом он резко махнул через левый бок, высоко выкидывая ноги, и колесом, не касаясь руками земли, пролетел над двором.

Это вызвало всеобщий восторг и одобрение.

– Принимаем! – ответил ему Глушила, присел на корточки и неожиданно быстро прокатился бочонком вокруг конюха.

Только не рассчитал силы свои немереные, а может, голова от хмельного закружилась. Соскользнул он с каблука, да со всего маха об настил саданулся.

– Эй, Глушила! – в наступившей тишине окрик Чурилы показался грозным. – Ты мне так все доски во дворе переломишь!

И от этого великан еще больше смутился.

Выручил мальчишка-подгудошник. Он выскочил на середину и начал вытворять с бубном всякие чудеса. Он стучал по нему кулаками, коленями, головой и плечами, и при этом ноги его вытворяли разные разности. Мальчишка то шел ползунком, носками лапотков выстукивая по козьей коже бубна, то высоко подпрыгивал, широко раскинув в стороны ноги, то вдруг, словно провалившись под лед, уходил вниз на вертушку. Бубен в его руках не умолкал ни на мгновение, заставляя мое сердце биться все чаще и чаще.

– Баянка, жги! – крикнул Глушила, довольный тем, что все сразу забыли о его неудаче.

– Что за малец? – спросил я у Велизары.

³⁴ Музыканты всегда высоко ценились на Руси. Обычно они играли в паре – какой либо музыкальный инструмент (жалейка, гудок или рожок) и бубен. На бубне задавался ритм, а музыкант выводил мелодию. Что касается танцев, они делились на ритуальные, мужские и женские. К ритуальным танцам относились всевозможные хороводы, к женским – топотухи и мотани, а к мужским – переплясы. На последних стоит остановиться особо. В переплясах (гопаке, ползунце, в так называемых «трюковых» плясках) без труда угадываются боевые приемы, подсечки, удары и подножки. В настоящее время во многих уголках России довольно успешно из дошедших до нас танцев вычленяются элементы «народных единоборств». Однако, на мой взгляд, большинство современных «бойцов-народников» танцевать совершенно не умеют и в своих поисках истины пытаются идти по пути наименьшего сопротивления, часто искусственно соединяя приемы восточных единоборств с русской традицией, и в результате получают весьма корявые, неорганичные и нежизнеспособные гибриды. Впрочем, это мое личное мнение.

– Это Баян, сирота подгудошная. Он месяца два назад из Чернигова пришел, да к Заграю прилобунился³⁵. Заграй музыкант знатный, а с таким напарником они в Киеве в почете оказались. На свадьбы да на родины их приглашают – отбою нет.

– Лихо у него плясовой бой выходит, – я прихлопнул в ладоши.

– Ты еще не слышал, как он бывальщины складывает, и сам те бывальщины поет.

Но, как поет Баян, в этот вечер мне услышать не довелось. Громкий стук в ворота прервал дробь бубна.

– Эй, народ! – раздалось из-за забора, – Пригласить на свой веселый пир вольных витязей не желаете?

– Как же не желаем? – в ответ крикнул Чурила. – Проходите, гости дорогие. Ребятки, – позвал он челядь, – отнимите от ворот запоры, проведите витязей за столы. И еды, и питья ноне всем хватит.

Молодцы бросились выполнять приказание, и через мгновение, под приветственные крики подвыпившего народа, на освещенный факелами двор вошла большая ватага хоробров³⁶.

Старший среди них отвесил земной поклон хозяину.

– Здрав будь, Чурила, посадник Подольский! Здравы будьте, люди радостные!

– Здрав и ты будь, Соловей, – поклоном ответил Чурила. – Откушайте и повеселитесь с нами.

Тут же Соловью подали ведерную братину, по края наполненную бурлящей брагой.

– За Коляду, Перуна, Велеса Мудреца, других Богов и Сварога над ними, – поднял он братину и сделал несколько больших глотков. – А ничего бражка, – кивнул он довольно, передал братину следующему витязю, громко рыгнул и огладил бороду, – сладенькая.

Братина пошла по рукам.

– За Макошь!

– За Световита!

– За Хорса!

Из разных земель пришли хоробры, и каждый своего Бога славил. Наконец я услышал:

– За Дажьбога!

Путята, а это был он, приложился к братине. За ним Зеленья с Яруном пригубили, а я вдруг понял, что стою и глупо улыбаюсь.

– Никак наши? – прошептала Велизара, а у меня стало теплее на сердце.

– Эх! – махнул я рукой горестно, – только Смирнова не хватает.

Но знал я, что Смирной сейчас поднимает заздравную чашу хмельной сурицы в чертоге небесном, в Сварге Пресветлой. За нас.

– Дядька Соловей! – подскочил к старшему витязю мальчишка-подгудошник. – Помнишь меня?

³⁵ Прилобуниться – (дословно) прижаться лбом. Пристроиться.

³⁶ Хоробр (волог, витязь, богатырь) – слово «богатырь» в русском языке восточного (тюркского) происхождения, хотя, может быть, самими тюрками заимствовано у азиатских арийцев. В других славянских языках это слово не известно, кроме польского, в котором оно является заимствованием из русского. В Ипатьевской летописи слово «богатырь» встречается впервые в рассказе о татарских воеводах под 1240, 1243 и 1263 годами. Для обозначения того понятия, которое теперь обозначается словом «богатырь», в древнерусском языке употреблялось слово «хоробр». О хоробрах, их жизни и укладе, среди историков споры не умолкают до сих пор. Выдвигаются различные версии богатырства на Руси. Кто-то считает богатырем гиперболизированными былинными персонажами (некто среднее между Иванушкой Дурачком и Суперменом), другие – религиозным воинственным орденом (типа Шаолиня, Круглого стола короля Артура, Корогода или касты Кшатриев), третьи – воинами-одиночками, которые по тем или иным причинам приняли обет следовать путем Воина (как странствующие рыцари Запада, ронины Японии или берсерки Скандинавии). Они не имели хозяев или нанимателей, а совершали поступки, соотносясь со своим собственным пониманием Правы, Добра и Справедливости. Одно можно утверждать с определенной уверенностью – хоробры (волоты, витязи) были весьма почитаемы среди всех сословий общества и выделялись из него. Так богатыри пируют с князьями, но в то же время критикуют их за те или иные проступки. Бывают посажены в погреб, но никогда не подвергаются избиению или казни. Летописец в Суздальской летописи, в рассказе о побоище на реке Калке, пишет: «И Александр Попович ту убиен бысть с теми 70 хоробрами...» и лишь вскользь упоминает об остальных потерях русского войска и т. д.

– Как не помнить? – обнял его Соловей, точно отец сына. – Песню твою частенько вспоминаю. Да ты вырос-то как! Совсем отроком стал. А помнишь...

– Здраве буде, Добрын Малович! – кто-то хлопнул меня по плечу.

– Путята!

Мы собрались в горнице у Чурилы. Я долго уговаривал их отказаться от затеи с моим освобождением. Дольше всех противился Путята. Он упрашивал меня уйти после ристания с ними. Он хотел войны. Он хотел воли для земли Древлянской и не понимал, не желал понимать, что не пришло еще время. Не равны силы. Что кровью будут течь реки, а вдовам не хватит слез, чтобы оплакать павших.

– Знаешь, Путята, – наконец сказал Соловей, – а княжич прав.

Хоробр вступился за меня, и я был благодарен ему. Только кто тогда мог предположить, что моя благодарность для Соловья через несколько лет смертью лютой обернется? Вот ведь как судьба порой нами вертит.

Я проспал почти до самого вечера. Накануне долго мы говорили. Все думали и рядили земляки, как сделать так, чтобы лик Дажьбога снова над Коростенем взошел. С Зеленой вспоминали наши давние споры и смеялись над ними, с Путятой песни тихонько пели, а Ярун рассказывал, как он Ингваря на конце стрелы своей держал, как они с Путятой старались отца из Любича выволить. Потом помянули погибших. Я хоробрам про то, как бежать собирался, про смерть Красуна рассказал. Выпили мы за то, чтоб его Водяной не сильно мучил. Потом за то, чтоб на ристании рука верной была, а голова ясной. Потом... я не помню, как заснул.

Лучше бы я не просыпался. Голова рвалась на куски. Язык стал сухим и шершавым. Страшно хотелось пить. Я свернулся калачиком на узкой лавке. Кто-то укрыл меня вчера козлиной шкурой, которая до этого лежала на полу под ногами. Шкура воняла брагой, пролитой кем-то, топленным салом, которое обильно стекало с наших пальцев и тяжелыми каплями падало на пол.

Каша, которую опрокинул Зеленья, когда показывал уход от копья с переворотом через плечо, была обильно полита конопляным маслом и приправлена чесноком. Этот запах сейчас был мне особенно противен.

Я не мог пошевелиться, любое движение вызывало новый прилив дурноты, но шкуру с себя все же скинул.

– Очухался, Добрыня? – голос Путяты эхом отозвался в голове.

– Угу, – промычал я и укорил себя за то, что давал зарок не пить, но не сдержался на радостях.

– Я вижу, тебе совсем невмочь, – сказал он и сунул мне под нос дурно пахнущую миску с мутной жидкостью. – Тебе надо это выпить.

– Угу, – простонал я.

– Давай помогу, – Путята подсунул мне ладонь под шею и приподнял голову. – Смотри, не захлебнись только.

Я набросился на варево. Жажда оказалась сильнее отвратного запаха. Питье было гораздо лучше, чем я мог ожидать. Чуть горьковатое, оно казалось странно приятным, легким и благодатным. Жажда отступила прочь. В голове стало проясняться, а противная мелкая дрожь, от которой я никак не мог найти спасения, улеглась.

– Да, – сказал Путята. – Белорев знал, что для мужика самое важное лекарство надобно, когда он от похмелья пробуждается. Три года я у него выпытывал, чем он бату моего от недуга похмельного отпаивал. Даже после посвящения он мне секрет не открыл. И ведь главный секрет не в составе, а во времени приема...

– Но секрет-то ты добыл? – я, наконец, смог говорить.

– А как же? – улыбнулся боярин. – Когда я со Святища сиганул, он же меня по кускам собирал. Все боялся, что не выживу я. А когда совсем приперло, мы с ним сделку заключили: я живым в Яви остаюсь, а он мне свою тайну открывает. Я выиграл.

– Ну, и что это?

– Так это же олуй³⁷, княжич! Обычное пиво, но вовремя поданное и от того целительное. Ну и как?

– Отпускает!

– Я же говорю: Белорев – знахарь доподлинный.

Мне действительно стало лучше, и даже в мыслях появилась некая легкость.

– А теперь вот это еще прими и совсем тебе хорошо будет, – он протянул мне маленький кувшинчик.

Я опрокинул его, сделал несколько глотков и... провалился в беспамятство...

Меня резко подбросило вверх, и я пришел в себя. Я висел поперек седла, а конь подо мной крупной рысью уносил меня неизвестно куда.

Кляп во рту мешал дышать. Руки и ноги связаны. Холодный ветер выдувает остатки хмеля из моей головы. Я попытался наземь соскользнуть, но не смог. Крепкий ремень притянул меня за пояс к луке седла.

Под копытами хрустел снег. Белый снег и ноги коня – все, что я мог разглядеть.

– Путятя, стой! – услышал я окрик и понял, что конь подо мной перешел на шаг, а потом и вовсе остановился.

– Уйди с дороги, Соловей! – услышал я голос моего похитителя. – Не доводи до лютого! Не заставляй меч из ножен вынимать.

– Неужто на меня с мечом пойдешь?

– Не хочу я этого, оттого и остановился. Но, коли мне препон ставить станешь, боем бить тебя буду.

– А нас тоже боем бить станешь? – услышал я новый голос.

– Ярун?! Вы же с Зеленой по девкам пошли...

– Не дошли, как видишь, – голос Зелени я сразу узнал.

Значит, без ведома побратимов Путятя решил меня из Киева умыкнуть. Да что он, совсем с головой рассорился?

– Оба здесь, – сразу поник боярин. – Он же малец-желторотик, убьют же его, только повод найдут и убьют. Да поймите же вы...

– Да будет тебе, – сказал Соловей спокойно. – Понимаем мы, что над тобою месть верховодит. Жрет тебя, как огонь головешку, потому и боль свою ты чувствуешь, а боли других не замечаешь. Или думаешь, что Чернигов и Смоленск под пяту варяжскую с радостью легли? А может, забыл, как в Нове-городе старушка под колоколом вечерним плакала и Рурика кляла? Не только земля Древлянская справедливости жаждет. И не хуже тебя я знаю, что такое Добрын для Богумириных потомков³⁸.

– Так, чего ж вы тогда?!

– А то, что малец нам велел на время в покое его оставить. А значит, так ему надобно...

Пока Соловей с боярином разговоры разговаривали, Зелена с Яруном меня от седла отчалили, на землю опустили, руки развязали, кляп изо рта вынули.

– Путятя! – заорал я. – Боярин младшей дружины, Путятя! Ко мне!

Не ожидал он такого, а и никто не ожидал, даже я.

³⁷ Олуй – так называли пиво, которое «...делалось крепким и носило разные названия по цветам и качествам...» (М. Забылин)

³⁸ Богумириные потомки – собственно славяне. Согласно Велесовой книге (впрочем, многие историки считают ее подделкой) Богумир был прародителем славянских народов.

Гляжу, а он с коня соскочил и ко мне бросился. Подбежал и на колени передо мной встал.

– Кто я для тебя?! – спросил я его.

– Грядущий князь земли Древлянской, – отчеканил он.

– Так какого же ты хрена, болярин, грядущего князя опоил и умыкнул, точно телка-подсоска?

– Так я...

– После оправдываться будешь, – поднял я руку, призывая к молчанию. – А сейчас скажи: или я глупее тебя?

– Нет, княжич, – покачал он головой.

– Тогда слушай меня, болярин, если бы мне сбежать было надобно, я бы еще на охоте ушел, и без твоей бы подмоги. Но понял я, что больше земле своей пользы принесу, коли Киев под моим присмотром побудет. А посему велю тебе меня обратно в город доставить, самому после ристания уйти спокойно, и хоробров за собой увести. Далее сидеть тихо, власти варяжской не перечить, смут не заводить. И еще, – вздохнул я, – не убьют они меня, не переживай.

– Как так? – спросил растерянно Ярун.

– И долго ли ждать знака твоего? – одернул его Соловей.

– Может, год, а может, десять, – усмехнулся я. – Пока у варягов слабины не почую, да знак не подам. Ясно, болярин?

– Ясно, княжич, – и с колена встал, подпругу у коня моего подтянул. – Чего сидишь-то? Застудишься, как завтра на стрельбище выйдешь?

– Вспомнила бабка здоровых сисек... – рассмеялся на это Соловей.

...Еще один спокойный вдох, еще один спокойный выдох... стою – тетиву тяну. Народ вокруг притих. Замер в ожидании, когда мой лук распрямится, тетива запоет звонко, и уйдет стрела на встречу с мишенью. Тогда закричат люди радостно, а может, вздохнут разочарованно. Понимаю я, что только от меня зависит, радость или печаль я народу принесу. Оттого из последних сил стрелу сдерживаю. Ветер ловлю, чтоб не помешал он ей куда надо вонзиться. А он, как назло, привередничает. То слева на меня подует, то прямо в лицо задышит. Видно, нравится ему надо мной озорничать. А думы, что ветер, отпустят на мгновение и снова нахлынут...

Это я почувствовал сразу, как только лук взял. Почти два года, кроме узды да гужи, ничего в руках не держал. Трудно теперь приноравливаться. Пусть лук не абы какой, а Жиротом слаженный, да Зеленой мне одолженный, пусть за стрелу можно спокойным быть, на совесть сделана Людо Мазовщанином, только руки не желают слушаться. Отвыкли. И я от лука отвык.

Времени у меня все меньше, так что некогда раздумывать, сживаться с луком надобно. Родниться с ним, чтоб в трудный час не подвел.

– Лук ты мой, лучок верный, – тихонько шептал я, – ты почуй мою руку на своем плече. Тетива-бичева звонкая, подомнись, натянись до моей щеки. Стрелка каленая с жалом пчеловым, подчинись моему зраку, стань женой ласковой. Я не враг вам, а сердешный друг, и, как другу, мне вы откликнитесь...

Так я причитал, а вокруг ристание начиналось.

С утра пораньше вышли конники. Их было пятеро.

Зеленя от земли Дажьбоговой, от народа древлянского, который хотят русским сделать. Другой хоробр от кривичей. Не знал я его имени, знал только, что он Макошь славит. Соловей от вятичей, Велес Мудрый у него в Покровителях. От славен всадник наперед выехал, конь под ним огненно-рыжий, как сам Хорс-Солнце светится, костяк у него крепко сложенный, такой в бою не подведет, но для скачек не сильно годен. Четверо витязей, а пятый – Свенельд.

Говорил же мне Святослав, что воевода решил в конном испытании потягаться. Интересно мне стало, а за какого Бога, варяг тягаться вышел? За Перуна, или за Торрина?

Выстроились в ряд, изготовились. Звенемир перед ними вышел:

– Готовы вы коней своих пред светлые очи Богов наших выставить?

– Готовы! – дружно ответили конники.

– Во славу Коляды, в честь Перунова огня скорого, именем Сварога Создателя, – он поднял посох над головой. – Вперед!

И сорвались кони, с места в галоп взяли.

Заволновался народ, на крик изошел. Подгоняют конников, а те и без того не мешкают – скачут, стараются. Кони под ними чуть из кожи не выскакивают. Вперед вырываются, стелятся над Днепровским льдом, копытами в него стучат. Гонка идет не за страх, а за славу. Вначале Свенельд поотстал немного. Но я его жеребца хорошо знаю, оттого и нет у меня переживания. Вот только почему-то хочется мне, чтоб варяг последним пришел. Видать, от большой любви.

Но жеребец воеводин быстро на дороге ледяной обвыкся. Уверенно нагоняет остальных начал. Только что последним был, а уже третьим идет, да ко второму подтягивается. А на втором Зеленья.

– Давай, древлянин! – шепчу я. – Помоги тебе Дажьбоже пресветлый!

А Свенельд уж вровень со вторым – голова к голове. Но впереди еще самое сложное.

Добежали конники до поворотного столба, огибать его начали, тут у коня Зелениного копыта поехали, по льду заскользили. Он на завороте на круп сел, да так на зад и проехался. Соскочил с него Зеленья, но не надолго – поднялся конь, а всадник уже в седле. Всего-то мгновение потерял. Но и этого оказалось достаточно, чтоб Свенельд вторым в этой скачке стал. Впереди у него лишь Соловей остался.

А народ орет, надрывается. Я подивился даже, откуда в людях столько сил? Который день игрища идут, которую ночь пиры не смолкают, а жителям града Киева и посадов его все точно трын-трава. Выпито и съедено немало, спето и переплясано еще больше, а они, точно дети малые, радуются. И неймется им, не спится. Медом не корми – дай поорать да побалагурить.

Громче всех Святослав кричит. На курганчике своим руками размахивает, скачет и подпрыгивает, и никак его Ольга утихомирить не может.

– Давай! Свенельд! Давай! – звонко кричит мальчишка, переживает за дядьку. – Я их всех победу-ю-ю!

И Свенельд давал. Выжимал из жеребца все силы, а тот и сам рад себе жилы рвать. Не любит жеребец вторым быть, как и хозяин его. Да только конь – животино нежная и к добрым рукам быстро привыкает. Знаю, что стоит свистнуть мне сейчас по-особому, и встанет конь. Встанет, как вкопанный. Я его к свисту этому всю осень приучал, так, чтоб не заметил никто. Потихонечку. Я не знал, для чего мне это нужно, но чуял, что когда-нибудь пригодится. Может, и настал тот миг?

И вдруг подумал я:

– И что дальше будет?

Словно наяву увидел, как слетает со своего жеребца воевода, как мордует он коня, как ножом ему глотку режет. В злобе своей варяг страшен, и с него станется.

Жалко мне коня стало.

А еще Гостомысл пригрелся... как он мне, послуху несмышленому, говорит строго:

– В подлости, княжич, радости не найдешь. Подлость радость сжирает. И подлый человек не должен жить в этом Мире, ибо через него красота погибает. Лучше костями ляг, а подлости не соверши...

Не стал я свистеть.

Посовестился.

А конники уже возвращаются. Свенельд впереди идет. Так и должно было быть. Я его жеребчика хорошо знаю, такой вторым быть не может.

Первым воевода к берегу подскочил. На курганчик к Святославу влетел, соскользнул с коня, и поклон земной кагану отвесил.

– Громовержец ныне в ристании конном выиграл, – и встал гордо.

Воевода-воробей стреляный, и на мякине с половиною его не проведешь. Эка вывернулся. Громовержцу победу отдал, а какому?

Перуну?

Торрину?

То-то, я смотрю, и поляне, и варяги радуются. Всяк под Громовержцем своего Бога прославляет. Словно и нет прежней вражды, еще чуток, и брататься кинутся. Хитро, ничего не скажешь, Асмудово семя, если сумело посадских с городскими хоть ненадолго примирить.

А на льду уже скоморохи пляшут – не дают народу остыть. Баян снова над бубном тешится. В Коляду всяк по-своему удаль оказывает, кто на бранном поле, кто в питии, а кто, как он – плясками, да песнями.

Лишь холопам кагановым не до веселья. Они для боев место отаптывают. И хоробры к схватке готовятся, по пояс раздеваются. Мечи свои раскручивают, чтобы плечи согреть. И Путята среди них. Шрам его страшный на морозе побагровел.

Знатный шрам у болярина. У правого виска начинается, по щеке сбегает на шею, а потом на спину перебирается и на пояснице ветвится мелко. Изодрал свое тело Путята, когда по камням острым со Святища скатывался. И виновен в этом отец Свенельда – Асмуд. Это он каждого десятого на смерть отсчитывал. Ярун должен был гибель принять, только вместо него болярин сам вызвался. Сам и с крути прыгнул. После, в бою, поквитался Путята со старым варягом, только вышло так, что Асмуд сам под его меч лег. От этого еще больше злился болярин и злость свою на Свенельда перенес, на Ольгу, на всех варягов без исключения.

Потому и толпился народ вокруг ристалища: предвкушали люди схватку злую, надеялись, что Путята со Свенельдом в поединке сойдутся. Ну, так это, как кошт выпадет.

Все готово уже, только Свенельда нет. Видно, немало сил у него скачка вымотала, если он все никак в себя прийти не может. Вот и ждут его все терпеливо.

Но вот и воевода появился. И народ зашумел сразу – рады, что дождались. Ну, а варяг перед людьми вышел и поклонился им в пояс, за задержку извинился.

Звенемир уже шапку свою трясет. В шапке палочки с зарубками. Кто одинаковые вытянет, тем и в пару становиться. Подходят к ведуну витязи, жребий свой тянут, а народ притих в ожидании.

Путята руку в шапку опустил, палочку вытянул и ведуну передал.

– Вода! – провозгласил Звенемир, и людям кошт Путятин показал – три поперечных зарубки.

Тут и Свенельд подошел.

– Огонь! – у Звенемира в руках жребий с такими же зарубками, только продольными.

Выдохнул народ.

Значило это, что если и встретятся древлянин с варягом, то только в самом конце, когда уже, кроме них, никого на ристалище не останется.

И ведь встретились же.

Пятерых на пути к этой встрече за собой Путята оставил. Пятерых Свенельд заставил принародно свое поражение признать. Остались только они двое. Огонь и вода – варяг и древлянин. Свенельд и Путята.

Устали оба. Дышат тяжело. У болярина плечо порезано. Кровь из раны течет. У Свенельда спина посечена, и тоже без крови не обошлось. Но вида они не подают, друг перед

другом бахвалятся. Дескать, раны – тьфу! – царапины мелкие, и сил для последнего поединка еще вдосталь.

– Дажьбог и Перун Громовержец до главного боя дошли! – меж тем Звенемир огласил. – Лишь Богам решать, кто из них пред Сварогом победителем предстанет, а витязь Путята и воевода Свенельд нам покажут, как Боги меж собою спорят!

Встретились они посреди ристалища, каждый своему Богу требу вознес, и сошлись в поединке.

Звякнули мечами и раскатились по сторонам. Обходить друг друга начали, слабины выискивать. Путята твердо ступает, следит за варягом внимательно. А Свенельд, словно кот в камышах, легко с ноги на ногу перетекает. Ловкость в каждом шаге его кошачьем, сила в руках и взор ясен.

Вот опять сошлись.

Точно молнии, мечи у поединщиков. У варяга меч фряжской работы – верткий и задиристый. У Путаты – Жиротом кованный, из того железа, что Эйнар, сын Торгейра, из-за Океян-Моря привез. По клинку болярина имя Коростеньского оружейника выбито³⁹.

– Ну, Жирот, не подведи, – это я тихонько за Путату переживаю.

Вновь схлестнулись. Волчками вертятся, друг дружку с ристалища выпихнуть хотят. Достойные супротивники, один другому не уступает. Поймал Путята варяга на выпаде, но тот сумел под руку болярина уйти, коленом его в бедро толкнул, да свой меч с разворота ему вдогон послал. Нырнул древлянин вниз, только клинок над головой просвистел, а сам уже в ноги варягу метит. Перелетел Свенельд через древлянский меч – ласточкой перепорхнул, едва земли коснулся и сразу в новый наскок бросился. А Путята его уже ждет. Обкатился вокруг руки варяжской, за спиной у противника оказался, хлестанул наотмашь, но и воевода не лыком шит, свой клинок под удар подставил – Путятин меч только лязгнул.

А люд вокруг заходится: свистит, кричит, визжит от удовольствия. Удастся, значит, праздник, и весна ранней будет, и осень урожайной. Есть чему порадоваться. И посадские здесь с Глушилой во главе, и мои конюхи. Все ждут, чем же поединок закончится.

Но такого никто ожидать не мог: взмахнули клинками поединщики, меч на меч наткнулся, и с хрустом раскололись клинки – одни рукояти у бойцов остались⁴⁰.

Видно, что желание победить у них чувство осторожности притупило, оттого и остались они в один миг безоружными. Была бы их воля, они бы с кулаками друг на друга набросились. Но воли такой им Звенемир не дал. Встал промеж них и посохом в снег притоптанный ударил:

– Схватке конец! – громко выкрикнул. – Боги решили миром разойтись!

Путята даже притопнул от досады, только разве против желания Покровителей он выступить сможет?

Сдержался болярин, поклонился народу смиренно, и Свенельд от него не отстал. Мир – так мир, если Богам он угоден.

Однако обниматься, как в конце поединка заведено, не стали они. Всяк к своим отошел, сделав вид, что поединка и не было. И все люди поняли, что наступит день и найдут они повод, чтобы снова встретиться.

³⁹ ...имя... выбито... – знаменитый меч из Фощеватой имеет рукоять скандинавского типа, но на клинке выбита русская надпись – имя кузнеца. Датируется находка X в.

⁴⁰ Меч был главным и самым почетным оружием профессионального воина. Древнерусские мечи широко известны и по находкам, и по письменным источникам. В конце IX – начале XI вв. они имели широкий (около 5 см) и обычно не длинный (около 90 см) клинок с параллельными лезвиями, широким желобом и часто закругленным концом – то есть предназначались только для рубки. Рукоять имела перекрестие в виде толстого ладьевидного бруска и грибовидное уплощенное навершие, благодаря которому меч уравнивался. Ручка обкладывалась деревом или рогом, а сверх того обтягивалась серебром, бронзой, или обматывалась ремешком либо крученой серебряной проволокой. Мечи X века были довольно хрупкими (сказывалось не слишком высокое качество металла), потому при прямом столкновении часто ломались. Отсюда и своеобразие техники боя, в которой клинок противника принимался не жестко, а вскользь. Лишь «сопровождался» до перехода в контратаку.

А холопы уже на лед треноги вынесли, жгутами соломенными обвитые – мишени для стрельбы готовят. Значит, пришел и мой черед.

– Лук-лучок, деревянный бочок, на тебя надежда моя.

Стрельба из лука у полян ценилась меньше, чем скачки или бой на мечях, потому и вышли на рубеж воины званием пониже. За Торрина Алдан-десятник лук натянул, Ярун за Дажьбога стрелу на тетиву положил, рус, мне незнакомый, себя за Ярилу кликнул, другой за Локи⁴¹ руку вверх поднял, а один воин, кудрявый, с орлиным носом, и вовсе за неведомую мне Богиню Нанэ⁴² огласился. Так что, когда Звенемир меня от лица Семаргла выставил, никто даже не удивился. Только мальчишка Баян подмигнул хитро. Понял я, что не так прост подгудошник, как показаться хочет.

– Пусть рука твоя будет верной, а ветер попутным твоей стреле, – пожелал я по-своему Алдану.

– Ты чего там ворожишь? Сглазить хочешь? – посмотрел он на меня подозрительно.

А я чуть не рассмеялся: надо же, варяг язык предков своих забыл. Совсем обрусел, значит. Как же он с Торрином своим разговаривает? Или Богу язык не важен?

– Для первого выстрела изготавиться! – скомандовал Звенемир.

На тридцать шагов холопы мишени отнесли и в стороны разбежались. А я тетиву натянул и Побора добрым словом вспомнил...

...Ветер Стрибожич все униматься не хочет. Чует ведь, что рука моя слабость стала, лук в ней дрожит, а он все куражится. Издевается, наверное, словно его Перун об одолжении попросил.

Сто шагов до мишени. Черным пятнышком на соломе турий глаз нарисован. То ли муха на мишень отдохнуть присела, то ли комар из треноги кровушку пьет. Но откуда среди зимы комарам да мухам взяться?..

...На восьмидесяти шагах нас уже только трое осталось. Ярун, Алдан и я. Понятно мне стало, почему десятник виру наравне с сотниками от Ольги получал – знатным он лучником оказался. Стрелу на лук накладывал скоро, тетиву отпускал мягко. Стрела к цели летела – залюбоваться можно.

Он первый и выстрелил. Прошуршала стрела в морозном воздухе, в мишень впилась. Точно в око турье. Рассмеялся десятник радостно, на меня посмотрел:

– Это тебе не девок по сеновалам таскать, – сказал. – Тут мастерство надобно, – и в сторону отошел.

Вторым у нас Ярун. Вышел он на рубеж, стрелу к щеке прикинул, мишень глазом поймал. Постоял немного и вдруг:

– Ласки прошу, Дажьбоже! – крикнул, лук кверху поднял и стрелу в небушко отпустил.

– Зачем?! – вырвалось у меня.

– Не хочу меж тобой и судьбой твоей становиться, – ответил он мне. – А Дажьбоже поймет и, небось, не прогневется.

Развернулся он и прочь пошел. А народ ему вслед свистит. Думает, что слабину Ярун дал. Но я-то знаю, что он с восьмидесяти шагов птицу влет бьет. Значит, решил для меня дорогу расчистить. Что ж? Теперь и за себя и за него стараться надобно.

Я его место на рубеже занял. Вскинул лук, прицелился. Ветер в спину дунул – я под него тетиву отпустил. Рядом со стрелой десятника она в солому вошла. Попал, значит.

⁴¹ Локи – один из Скандинавских Богов.

⁴² Богиня Нанэ – супруга армянского Бога Солнца Ара-Мазда.

– Я смотрю, везет тебе, Добрын, – кивнул варяг. – Посмотрим, как ты на сто шагов стрелупустишь?

– Посмотри, – я ему, а у самого поджилки трясутся, то ли от страха, то ли от усталости.

И бражку Чурилину, и Путятю, который мне выпасться не дал, и самоуверенность свою чрезмерную, все просчеты свои в миг успел добрым словом помянуть. Только что теперь кориться? Так сложилось все, как сложилось. Как я тогда Ольге сказал? Хоть душу потешу? Нет. Потерпит душа, а я по Малуше соскучился.

Вот и мишень уже в ста шагах, вот и Алдан стрелу свою в полет отправил, и нашла стрела тот турий глаз, ну, а я немного замешкался. Ветер налетел, рука подрагивает, спину ломит, а мишень вдалеке, словно муха уснувшая. Притихли люди, моего выстрела ждут, а я медлю. Момент выжидаю.

И почудилось мне, будто сам Семаргл ко мне с неба спустился. Обвил меня своим хвостом чешуйчатым, в ухо жаромдохнул.

– Отпускай стрелу, – шепчет, – а с Пряхами я уже договорился.

Вырвалась стрела из моих пальцев, зазвенела тетива, распрямылся лук, народ вокруг заволновался. А я вслед стреле смотрю, и кажется мне, что летит она очень медленно, точно сквозь кисель пробивается. Вроде, правильно летит, вроде, в цель.

Но Стрибожич меня предал. На подлете к мишени мою стрелу в сторону толкнул. Отклонилась она, только по соломе деревянным боком скользнула, пролетела еще с десятков шагов и зарылась в снегу.

Возглас разочарования взлетел над днепровским льдом. Так народ мою неудачу отметил. А у меня слезы на глаза навернулись.

От обиды.

От обмана.

От злости на себя.

Опустил я голову, чтоб позора моего никто не заметил и с ристалища поспешил. И не слышал уже, как Звенемир победителя славил, как люди его приветствовали, как ругался Глушила с женой из-за гривны, что на кошт поставили, как радовался Алдан, что сможет теперь Томиле гостинец подарить...

А я уходил все дальше и дальше. В Киев спешил, на конюшню, чтоб на чердак залезть, в сено закопаться. Чтоб никто слез моих не видел.

Не дали мне спрятаться, да с горем моим наедине побыть. Претич меня за плечо схватил:

– Добрын, – говорит, – велела княгиня тебе в дорогу собираться. В Ольговичах старший конюх третьего дня брагой опился, да помер. Сказала она, что теперь ты там за главного будешь.

– Погоди, – я от неожиданности опешил, – как в Ольговичи? Я же промазал!

– Вот так, – сказал сотник, – и мне тебя туда немедля доставить надобно.

– А со своими проститься?

– Нет, – сказал он строго. – Велено прямо сейчас отправляться.

Зря я на пса Сварогова обижался – не обманул Семаргл. Хоть и проиграл я на стрельбище, а судьба так повернулась, что будет все, как хотелось мне. Малуша рядышком, от Свенельда подальше, да еще не простым конюхом – старшим. Но почему же не слишком меня это радует? Чувство такое, будто подачку кинули. Словно переиграла меня Ольга в игре, которую я сам же и затеял.

Скакал я с Претичем стремя в стремя и не знал, то ли радоваться мне, то ли огорчаться? Еще жалко было, что с друзьями повидаться не смог, что с Путяттой не простился. Скакал и сам себя уговаривал, дескать не велика беда. Свидимся, мол, и не раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.